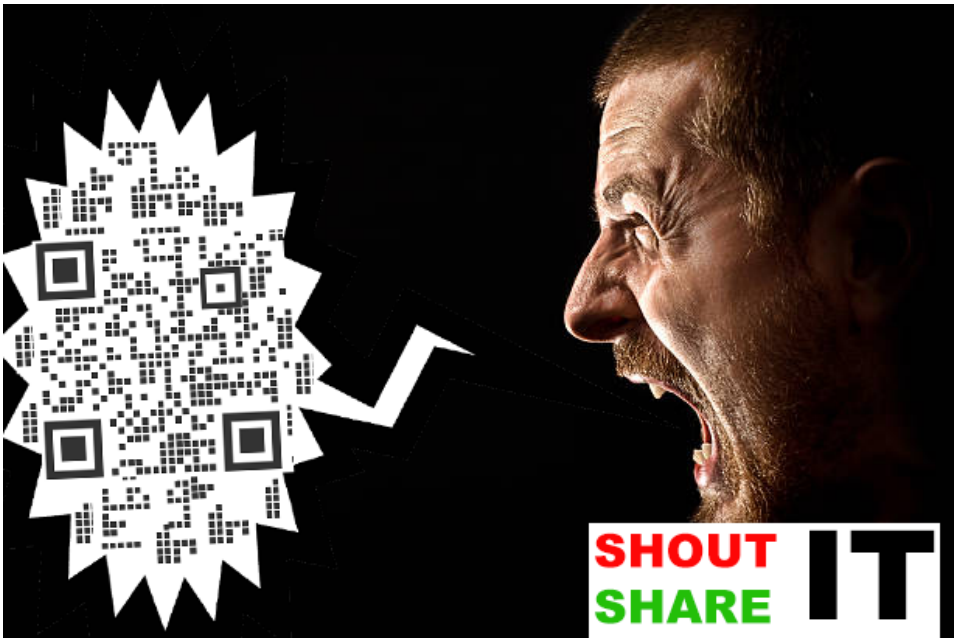
Непроливашка

Владислав Крапивин


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сколько ярких эмоций может быть связано с самой обыкновенной чернильницей-непроливашкой! Этот предмет заставляет автора вспомнить о старом графе Андрее Гаврилыче Трубчинском, о своем детстве и о многом другом…

- Владислав Крапивин
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.

Владислав Крапивин
Непроливашка
Повесть-воспоминание

1.

В душе я коллекционер. А точнее говоря, барахольщик. Потому что коллекционеры собирают свои редкости по строгой системе, а я просто так, что придется. В моей комнате полным полно мелких, бесполезных на первый взгляд вещиц. Они на полках, на стенах, на подоконнике, на рабочем столе. Здесь, на столе, бросается в глаза одна причудливая штука. Те, кто приходят ко мне впервые, как правило, замечают ее:

– Ух ты, какая интересная вещь! Старинная, да?

Вещь и вправду старинная. Это маленький письменный прибор из бронзы или латуни. Любопытно, что за долгие годы он не покрылся чернотой или зеленью, сохранил лишенный окиси золотистый цвет.

В основании прибора – пластинка размером с крупную плитку шоколада. У нее узорчатые лапки-подставки и обрамление из медных лепестков и завитых ракушек. Такой стиль называется «рококо». Он был моден в восемнадцатом веке. На площадке два круглых гнезда. В одном стоит фаянсовая, лиловая с белым посудинка. Она расписана сентиментальными цветочками и закупорена плоской металлической крышкой. На ободке крышки до сих пор заметны следы позолоты, а сверху в ней множество мелких отверстий. Похоже на перечницу. Но, конечно, это не перечница, а песочница. В давние времена, когда не было промокашек, песком посыпали написанные гусиным пером чернильные строчки – для скорейшего высыхания. А перо макали в чернильницу, которая стояла в соседнем гнезде.

Увы, чернильницы нет, не сохранилась. Это и понятно! Прибор столько лет провалялся в земле.

В шестидесятых годах прошлого века под Москвой, недалеко от поселка Петрово-Дальнеее, сносили с лица земли очередную обветшавшую усадьбу. Разумеется, на развалинах копошились местные пацаны – любители тайн и кладов. Они-то и отыскали прибор. А потом его то ли выменяли, то ли выкупили у мальчишек мои друзья, которые жили в этом поселке. Тоже любители старины.

Я, когда был у друзей в гостях, как говорится, «положил глаз» на эту находку. И стал выпрашивать. Хозяева покряхтели, повздыхали и наконец решили:

– Так и быть, забирай. Ты человек пишущий, тебе такая вещь нужнее.

Конечно, это была шутка. Кто в наше время пишет рассказы и повести, обмакивая перо в чернила! Тем более, что и

чернильница-то неизвестно где… Таким образом никакой практической пользы от прибора не было, он мог служить лишь украшением.. Но украшение – тоже польза. А кроме того эта старинная вещь иногда щекочет авторскую фантазию.

Я ведь пока не описал прибор полностью. На нем есть еще рамка, тоже в стиле рококо – из тонко отчеканенных завитков и ракушек. Она вертикально торчит над площадкой, и в ней висит колокольчик. Красивый такой, как бы склеенный из латунных лепестков и листьев. Внутри у него, если приглядишься, тоже можно различить следы позолоты. Мне кажется, что они придают звону особую мелодичность. Голос колокольчика ничуть не потускнел за два (а то и за три!) века. Он чистый и ребячливый, как у мальчиков-колокольчиков из сказки «Городок в табакерке».

Зачем этот звонок на письменном приборе? Ясное дело, чтобы хозяин, не вставая из-за стола, мог вызвать кого-нибудь из домашней обслуги.

Я трогаю край колокольчика авторучкой: длинь… Конечно, ко мне на этот звон никто не придет. Только любопытные коты Макс и Тяпа просовывают в дверь усатые морды. Но я вновь толкаю колокольчик. Бужу воображение. Представляю, как было раньше. В те времен, когда прибор стоял в кабинете у хозяина усадьбы, на бюро из красного дерева (тоже в стиле рококо)

Мне почему-то кажется, что хозяином был пожилой обедневший граф. Однажды я даже придумал ему имя; Андрей Гаврилыч Трубчинский.

Я вижу, как Андрей Гаврилыч в потертом плющевом халате (шлафроке!) сидит у бюро и водит по бумаге растрепанным гусиным пером. За высокими, с полукруглым верхом, окнами снежное, искрящееся от солнышка утро. Потрескивает кафельная печь. Потрескивает от всякого движения и рассохшееся от старости бюро. Граф уже выпил кофию, но завтрак еще не приносили, есть время для письма… Андрей Гаврилыч ставит наконец подпись и трясет над листом песочницей. Погодя, сдувает песок. Хлопает обгрызанным концом пера по колокольчику. Раз, другой… . Наконец появляется из-за двери сутулый и морщинистый камердинер – в малиновой ливрее с пожухлым позументом, в сморщенных чулках и валеных туфлях вместо положенных башмаков с пряжками.

– Слушаю, батюшка Андрей Гаврилыч…

– Плохо ты слушаешь, Федотыч. Я тут звоню, как Петровский монастырь к заутрене, а тебя все нет…

– Виноват, батюшка. Прилег на лавке, ночь-то всю как есть глаз не сомкнул, поясница ноет, окаянная… Чего прикажете? Завтракать в зале будете или сюда чтобы принесли?..

– Вели Ермолаю оседлать Персея, да пускай едет не мешкая в столицу, отвезет письмо княгине Софье Павловне. И на словах пусть добавит, что барин будет у нее непременно, как только вылечит простуду.

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да неужто захворали? Я велю Авдотье, чтобы малину…

– Для нее захворал, для княгини. Опять прислала билет: извольте, граф, быть на балу. Чего я там не видел? Менуэты с девицами танцевать годы мои давно не те. Одно только дело: за карточным столом дурака валять. Интересу на грош, а убытку… В прошлый раз семь рублёв просадил…

– Семь рублёв! Батюшка, разор-то какой! Барыня Катерина Дмитриевна, царство ей небесное, век бы вам не простила!

– То-то и оно… Да ежели бы еще порядочному человеку проиграл, а то ведь ротмистру Бугаевскому из жандармского корпуса. Срам…. Ну, ступай, найди Ермолая.

– Найти-то не хитро, а только…. может, лучше велеть Степке, чтобы запряг возок да и свез бы письмо? Верхом-то он никак…

– Отчего же Степке? Он дурак, да и в Москве почти не бывал, улицу, какую следует, не сыщет…

– Оно так. И боязлив к тому же, в лесу ему за всяким деревом волки чудятся… Тогда, может, я сам свезу? Не столь уж далекий путь…

– Еще не легче! Ты, Федотыч, глянь на себя, из тебя песок, как из этой склянки… – Андрей Гаврилыч встряхивает в пальцах песочницу. – И сам же говорил, что поясница… Да отчего нельзя Ермолаю-то?

– Куда же ему, ежели он лежит в людской на лавке колодою, слов не вяжет, мычит только. Девки его рассолом отпаивают, да пока без проку. Веч ***о*** р бражки нахлебался, раздобыл у баб…

– Новое дело! С чего это он? Вот как дать бы ему хорошего дёру на конюшне…

– Дёру – это завсегда полезное дело, батюшка, да только не в нынешнем разе. Известно ведь, что от любви нету никакого средства…

– Еще не легче! Это от какой такой любви?

– Да известное дело. Сохнет он по Марфушке, что в помощницах у Авдотьи, места не находит.

Андрей Гаврилыч с досадою ставит песочницу мимо гнезда на приборе.

– Сохнет он! Это что же за бестолковость такая!.. Разве нельзя сделать все, как у людей? Пришел бы, пал бы в ноги, как полагается: дозволь, барин, взять за себя Марфушку, Или я не человек, не понимаю никакого сердечного страдания?

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да все знают, что добрее нашего графа нету во все округе! И кабы только в вас дело…

– Вот те новость! А в ком еще?

– Да в ней, в окаянной! В Марфушке! Не пойду, говорит, за рябого! А будут неволить, говорит, враз камень на шею и в омут! И ведь сделает, греха не побоится! Потому как не может забыть Митьку Кудрявого, казачка вашего, коего послали в Москву к живописцу Кондратьеву для обучения…

– Погоди, Федотыч… – Андрей Гаврилыч прикладывает ладони к вискам. – У меня в голове от твоих рассказов так, будто сам бражки хлебнул… А Митька-то что?

– Да кто же его знает. Столичная жизнь – дело непонятное…

– Ну вас всех. Пускай сами разбираются… И письмо тоже – ну его, коли уж послать некого. Княгиня небось и не заметит, что меня там нету… А ты, Федотыч, вот что. С завтраком вели погодить, а принеси-ка мне наливочку, ту, что из смородины. Только так, чтобы Авдотья не видела. До того вредная баба, опять причитать начнет про мои хвори, будто я не секунд-майор в отставке, а дитя без понятия…

– Андрей Гаврилыч, я сей минут!

– То-то, что сей минут. Да гляди, чтобы сам ни-ни…

– Батюшка, да как можно!

– Знаю я твое «как можно»… Ну ладно, стаканчик, не больше.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч…

Федотыч пятится и пропадает надолго. Видать, непростое это дело – раздобыть графинчик из шкафа, что под постоянным приглядом бдительной Авдотьи..

Граф откидывается в кресле с зеленой стеганой обивкой. Хорошее утро за окнами, потрескиванье дров в печи, уют привычной комнаты и предвкушение наливки приносят в душу спокойствие. В самом деле, чего извиняться перед княгиней? Проживет старуха и без его письма. И Ермолай протрезвеет и, глядишь, как-нибудь смягчит сердечные страданья. Не драть же, в самом деле, мужика, ежели ему и без того худо… А бестолковая Марфушка, глядишь, поумнеет и сама выберет суженого. Неволить граф никого не хочет. Хотя бы из уважения к Костиньке, который не раз убеждал отца, что люди всякого звания одинаково имеют право на Божью и человеческую милость…

Давняя, привычная уже тревога за Костиньку – это, пожалуй единственное, что мешает сейчас окончательному благодушию. Граф поднимает глаза на маленький акварельный портрет. Ну Митька, ну чертенок, до чего же наловчился орудовать красками да кисточками. Ведь ни у кого не учился, сам по себе. И совсем был малец, когда писал этот портрет, одних годов с Костинькой.

На акварели кареглазый круглолицый мальчонка с локонами и с тонкой шеей, точащей из высокого форменного воротника. Губы пухлые, а брови он строго свел, как и положено будущему флотоводцу. И похож, похож… Маменька его Екатерина Дмитриевна, когда была еще жива, не раз пускала слезу у портрета. Да и у самого графа порой щиплет в глазах…

Господь уберег Костиньку, год назад начальство отправило гардемарина Трубчевского в кругосветное плавание на шлюпе «Афродита». А не случись такого, оказался бы, чего доброго, мальчик среди тех, кто вышел в недавнем декабре на Сенатскую площадь. С его-то мечтаньями о всеобщей вольности!.. А где он теперь, в каких морях, у каких островов? Последнее письмо было пять месяцев назад, из южной заморской страны Бразилии, из города Рио-де-Жанейро. С той поры сколько всего могло случиться…

«Господи, спаси и сохрани моего мальчика…» – Граф мелко крестится и с полминуты сидит, склеив мокрые ресницы.

Тревожно, да. Но ведь, с другой стороны, отрадно, что Костинька повидает белый свет. Глядишь, и ума– разума наберется, отбросит пустые мысли, кои толкают юных офицеров на безрассудства. Бог им судья, но мыслимое ли дело кидаться очертя голову в мятежи простив государя императора! Беззаконием добьешься ли общего благоденствия…

А Митька и вправду молодец. Не сбился бы только с пути в матушке-столице. Может, и будет прок из бывшего расторопного казачка. Известны уже случаи, как из крепостных душ получались знатные мастера. Ежели будет так, то можно и вольную, чего запирать в неволе божий дар. Скажу: «Пиши маслом с меня большой портрет на память сыну и внукам, кои будут непременно, да и ступай с Богом. И Марфушку можешь забирать, если есть на то ее желание…» Хотя этак можно всей дворни лишиться! Ну да ладно, время покажет…

Хлопая туфлями о разболтанный паркет, появляется Федотыч. На подносе – графинчик, полный темнокрасной жидкостью до половины, и две граненые рюмки. Одна – со следами наливки.

– Я вижу, приложился уже…

– Да ведь сами позволили, батюшка…

– Ладно-ладно… Авдотья не видела?

– Упаси Господь…

– Давай сюда… Ну не гляди, не гляди так, налей и себе половинку.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч. С каждого глотка пояснице все легше…

От наливки теплеет в желудке, а потом и в груди.

– Федотыч, графинчик и рюмку оставь у меня, спрячу. Остальное унеси, потом придешь подкинешь дровишек…

– Слушаю батюшка Андрей Гаврилыч, дай Бог вам здоровья…

Федотыч уходит шаркая подошвами, а возвращается очень быстро и чуть ли не вприпрыжку.

– Андрей Гаврилыч, там верховой из Москвы. Говорит, от господина надворного советника Колоскова Петра Петровича!

– Кто таков? Не помню… Вели войти!

Человек появляется в дверях. Видно, что из дворни богатого хозяина. Одет добротно, в ладно скроенный полушубок и теплые мягкие сапоги. Волчью шапку держит в руках, но не мнет. Кланяется. с достоинством.

– От его высокоблагородия Петра Петровича Колоскова спешное письмо вашему сиятельству.

«Что такое? Не было забот…»

– Давай сюда, братец…

Конверт большой. Плотный, не разорвешь сразу. В нем еще конверт, поменьше, и отдельный лист бумаги.

«Его Сиятельству графу Трубчинскому.

Милостивый Г осударь Андрей Гаврилович! Будучи вновь назначенным в Москву полномочным представителем Российско-Американской компании, я постоянно получаю из Петербурга служебные бумаги и прочую почту. В последней почте я нашел письмо, переправленное с Камчатки чрез Охотск, и адресованное Вашему Сиятельству. Имея сведения, что Ваш сын Константин находится в плавании на шлюпе «Афродите», пришедшем осенью прошлого года в Петропавловский порт на Камчатке, я предположил, что письмо это отправлено им. Понимая отцовское желание получить от сына скорейшие известия, почел я своим долгом незамедлительно отправить сей конверт Вашему Сиятельству.

Выражаю надежду, что предназначенные Вам сообщения благополучны, и остаюсь Вашего Сиятельства покорнейшим слугою -

Российско-Американской компании
Московский полномочный представитель
надворный советник Колосков.»

Это ясно. Теперь другой конверт, скорее! Эк ведь пальцы трясутся, будто у старца… Сложенные вчетверо листки, знакомый, такой родной почерк с озорными завитушками и длинными хвостами у ятей и твердых знаков…

« *Милый батюшка! Третьего дня наш корабль «Афродита» прибыл в Петропавловскую гавань, и тут же на борт нам доставлена была долгожданная почта. Среди счастливцев был и я, получивший Ваши письма. Благодарю Создателя за то, что в момент писания были Вы в добром здравии, и спешу с ответным письмом, поскольку уже через четыре дня мы, выгрузив товары Компании, должны уйти до холодов в южные широты Великого океана для описания нескольких вновь открытых островов. Прежде всего хочу просить, батюшка, чтобы Вы за меня не тревожились. Здоровье мое отменное, плаванием я чрезвычайно доволен, товарищи самые добрые, а командир наш капитан-лейтенант Федор Федорович Безбородько о всех офицерах и служителях имеет отеческое попечение…»*

Ну и слава Богу… Слава Богу!.. Письмо длинное, и не единожды будет подробно перечитываться долгими зимними вечерами. А на первый раз надобно пробежать его быстрым глазом, чтобы покрепче убедиться: все у Костиньки благополучно…

Посланец кашлянул у дверей.

– Осмелюсь спросить у вашего сиятельства, будет ли ответ для его высокоблагородия? Петр Петрович приказывали мне возвратиться без промедления.

– Будет, будет непременно! Тебя как звать, голубчик?

– Филиппом кличут, ваше сиятельство.

– Федотыч, отведи Филиппа на кухню, пусть Авдотья накормит горячим. И чтобы чарочку… Передохни, голубчик, пока я пишу Петру Петровичу. И вот еще… возьми-ка это братец… – Андрей Гаврилыч дергает на себя скрипучий неподатливый ящик (колокольчик отзывается звоном), достает серебряный рубль с разлапистым орлом, чеканки памятного двенадцатого года, когда граф Трубчинский с верным ординарцем Федотычем ушел в ополчение.

Филипп берет монету с достоинством.

– Покорнейше благодарим, ваше сиятельство.

…Через час, когда послание надворному советнику Колоскову с душевной благодарностью за добрую весть написано, Филипп ускакал, а письмо Костиньки прочитано еще дважды, граф Андрей Гаврилыч с мягкой отрадою в душе (и с теплотой от еще одного стаканчика наливки) полулежит в кресле. Кроме отрады, есть в душе и не растаявшее до конца беспокойство. Ведь письмо-то написано в октябре, а нынче на дворе уже февраль. За четыре с лишним месяца могло случится всякое. Однако для большой тревоги нет сейчас места. Следует быть благодарным судьбе за осеннее письмо. Господь милостив и надо надеяться,

что и дальше Он будет хранить мальчика от всяких бед…

Федотыч уже дважды заходил в кабинет – будто бы приглядеть за печкой. И наконец он не выдерживает:

– А что, батюшка, никак весточка от Константина Андреича?

– От него, от него! – радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гаврилыча, прогоняет сонливость. – Пишет, что все у него хорошо, высочайшим повелением он и два других гардемарина произведены в мичманы, был получен указ в Петропавловске… И тебе кланяется, Федотыч.

– Значит, помнит старика…

– Как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал!.. Федотыч, вот что! Негоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание! Иди к Авдотье и скажи, чтобы достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала! Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей…

Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулею летит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырчатым янтарем.

– Федотыч, бери бокал!

– Батюшка, негоже мне господское-то вино пить, не по чину…

– Ладно тебе, «не по чину»! Первый раз, что ли? Забыл, как в четырнадцатом году, в Париже?

– Как забыть! Да тогда ведь за государя…

– А теперь за Костиньку! За мичмана Константина Андреича Трубчинского!

Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами.

– Оно конечно. Дай ему Господь всяких радостей…

Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать: мы все такие же, как в молодости! Взмах слишком широк. Рукав шлафрока летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, а фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица блестит на паркетных плашках.

– Батюшка, вот беда-то!

– Что за беда! Если что-то бьется, это к счастью! – заявляет граф. И с размаха садится в кресло.

– Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлона Евстафьевича, царство ему небесное…

– Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку…

– Оно так, сыщу… Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохло.

– Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке…

…Написал я эту историю и теперь думаю: зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна, лежат раковины с южных островов, а над головой колышутся от сквозняка паруса корабельной модели? Или просто потому, что недавно я дал себе обещание писать, «как Бог на душу положит»? То есть вольно и безоглядно, все, что придет в голову. Говорят, что в мемуарах это позволено, а данная повесть – явно мемуарная. Воспоминания о давнем… Однако Андрей Гаврилыч Трубчинский к воспоминаниям отношения не имеет, я же его просто придумал… Может, вычеркнуть эти страницы? Но мне почему-то их жаль. Жаль расставаться с пожилым графом, со старым Федотычем, с уютным кабинетом, где потрескивает кафельная печка и висит акварельный портрет морского кадета Костиньки. Все, что сочинилось, я вижу, как наяву. И это помогает мне писать дальше. Уже про то, что было по правде.

2.

Однажды моя жена вернулась с вещевого рынка (иначе говоря, с «барахолки») и сказала:

– Я принесла тебе подарок. Смотри…

Она протянула мне на ладони маленькую чернильницу («чернилку», как говорили мы в давние школьные годы).

Большинство нынешних ребят про такие чернилки и не знает. А в середине двадцатого века они были у каждого школьника. Делались чернилки из пластмассы, из стекла, из фаянса. Снаружи – этакие стаканчики ростом со спичечный коробок, а внутри у них стенки сужались воронкой. Чернил наливалось немного, так, чтобы горлышко воронки не погружалось в них. Если чернилку клали на бок или переворачивали, содержимое ее оказывалось за краями воронки и не выливалось наружу. Отсюда и название – «непроливашка». Оно употреблялось даже чаще, чем «чернилка».

Самыми солидными были фаянсовые непроливашки. Делали их еще в довоенные времена, но многие из них дожили до сорок пятого года, когда автор этой повести пошел в первый класс. Иногда на белых блестящих боках красовались цветные картинки – как на чайной посуде. Цветочки, утята, пионеры с горнами, снежинки. А были и попроще: совсем без рисунков или с полосками по краю. Как раз такую и подарила мне жена – белую, с тонкими синими каемками у верхней кромки.

– У меня была в точности такая же!

– И у меня была похожая…

– А эту ты где откопала?

– Да у старичка, среди тех, что сидят у забора.

Вдоль забора барахолки всегда рассаживались продавцы всякой мелочи, раскладывали товар на кусках мешковины. У этих стариков и тетушек можно было найти дверные петли и всякие инструменты, шурупы всех размеров и старые граммпластинки, подсвечники и шкатулки из ракушек, старинные пятаки и блюдца от разбитых сервизов… Немудрено, что там оказалась и непроливашка.

Я взял ее в ладони, как птенчика.

– Нравится? – сказала Ирина.

– Еще бы! Будто снова в первый класс собрался…

– Спрячешь в ящик или поставишь на стол?

Для меня здесь не было вопроса.

– Вот сюда, на прибор!

Много лет письменный прибор «графа Трубчинского» стоял на моем столе без чернильницы. В пустое гнездо я ставил то

пузырек с клеем, то какую-нибудь безделушку. Или складывал канцелярские скрепки и кнопки. И вот наконец старинная вещь обрела то, чего заслуживала. Снова – полный комплект!

Конечно, с точки зрения художественного вкуса несовместимость получилось дикая. Бронза в стиле рококо и ширпотребовская чернилка середины двадцатого века! Но я ощущал здесь полное внутреннее согласие. В своем понимании! Потому что и затейливый прибор, и простенькая непроливашка одинаково будили во мне воображение и память – о том, чего не было и что было…

Бывает, что я щелкаю ногтем по колокольчику (вдруг, покашливая и шаркая, войдет Федотыч?) потом беру и тихонько баюкаю непроливашку (старый сентиментальный дурень). «Подруга дней моих суровых…»

Правильнее сказать «подружка». Потому что малютка. А насчет суровых дней – все точно. Жизнь моя в первом и втором классах была отнюдь не розовой. Я уже немало писал про нее и до сих пор удивляюсь: сколько сюжетов кроется в двух годах школьного бытия семи– и восьмилетнего пацана. Хватило бы еще на несколько романов, причем в каждом – куча горестей и неприятностей. Кстати, с неприятности началось и мое знакомство с непроливашкой.

В разных повестях и рассказах я, рискуя надоесть читателям, уже писал, что в те годы жил в Тюмени, на деревянной улице Герцена, бывшей Ляминской. Отнюдь не центральной, но и не совсем окраинной. Зимой она утопала в сугробах, летом – то в пыли, то в бесшумной тополиной метели. За хлипкой дощатой стенкой нашей комнаты обитал сосед Пашка, он был старше меня на три года.

О Пашке я писал тоже многократно, выводя его под разными именами. Это был и Павлик (весьма романтизированный) в ранней лирической повести «Тень Каравеллы», и Лешка Шалимов в разных автобиографических циклах, и Пашка Шаклин в повести-дневнике «Однажды играли…» Последнее имя – самое близкое к настоящему, таким я и оставлю его здесь.

Пашка был всякий. Соседями мы были с самого моего рождения, и рассказывать о Пашке я могу «в самых разных ключах». И как о добром приятеле и защитнике; и как о вредном насмешнике, который награждал меня прозвищами и не брал играть в компанию своих одноклассников; и как о внимательном, даже ласковом собеседнике в зимние вечера, когда мы читали у настольной лампы потрепанные приключенческие книжки и вели разговоры; и как о жуликоватой личности, таскавшей у меня кедровые орехи и полученные мамой по каким-то «литерным»

талонам карамельки; и как о щедром друге, который делился липким пайковым хлебом. И все будет правдой…

И в этой истории Пашка выступает в самых разных ролях. Для начала – именно он подарил мне белую с синими полосками непроливашку.

Случилось это в середине октября. Мы, первоклассники, в ту пору еще осваивали буквы и первые слова и писали карандашами. И наконец-то было обещано, что скоро нам разрешат, как полноправным школьникам, приобщиться к перьям и чернилам. («Но кто будет ставить кляксы, заставлю писать карандашом до Нового года», – пообещала Прасковья Ивановна; она всегда обещала что-нибудь *такое* .)

Дома я поделился радостной новостью с Пашкой. В наших отношениях в ту пору не было никаких конфликтов, и Пашка выслушал меня доброжелательно. Покивал с пониманием. А скоро постучал мне в стенку и крикнул:

– Зайди, что-то покажу!

Я пришел в его комнату, где пахло сваленными у печки березовыми дровами и масляными красками (старший Пашкин брат Володя в ту пору учился живописи). Пашкины рыжеватые глаза блестели доброжелательно.

– На! – он протянул мне на ладони белую чернилку.

– Это… мне?

– А кому еще? Кто завтра начинает бумагу чернилами марать?

– Насовсем? – прошептал я, начиная таять от благодарности. Благодарность была не только за подарок, но и за неожиданную Пашкину щедрость.

– Насовсем, насовсем… У меня еще одна есть, а у тебя ведь нету никакой. Таскать чернила в пузырьке – дохлое дело, а эта гляди какая: как ни крути, ни капли не выльется. Она же непроливашка.

Пашка положил чернилку на ладонь боком. Потом поставил вверх донышком, покачал. Показал мне ладонь. На ней – ни пятнышка.

– А чернила-то в ней есть? – недоверчиво сказал я.

– А как же! Столько, сколько надо! Гляди! – Пашка схватил со стола ручку-вставочку, сунул в чернилку перо, выдернул. На остром конце искрилась темная капля. – Ты, главное, не наливай чересчур, и все будет как в аптеке! – С этими словами он подбросил непроливашку и опять поймал на ладонь.

Я смотрел приоткрыв рот. Все это было похоже на фокус.

Может показаться странным: неужели до той поры я не видел непроливашек? Нет, видел, конечно, однако все как-то издалека,

мельком. Старшие брат и сестра уже не были школьниками и учились в институте, в далеком городе Одессе. Дома у нас использовали для всякого писания массивную стеклянную чернильницу, которая называлась «папина». У Пашки и у других ребят из старших классов такие чернилки мне, конечно, попадались на глаза, но об их чудесных свойствах я до сей поры не догадывался.

Я принял подарок в растопыренные пальцы, но остатки недоверия все еще копошились у меня в душе. С чего это Пашка нынче такой добрый? И он, кажется, догадался о моих мыслях?

– У тебя же недавно был день рожденья. А я ничего не подарил. Ну, и теперь, значит, вот…

– Спасибо… – сказал я сипловато от смущения. И наконец полностью уверовал в Пашкино бескорыстие. А заодно и в полную *непроливаемость* чернилки. И бесстрашно затолкал ее в просторный задний карман на штанах.

Штаны эти были мамин подарок к моему недавнему семилетию. Мама сшила их из куска старой плащ-палатки. К сожалению, материи было мало, и штаны оказались длиною выше щиколоток, но, если заправить в резиновые сапожки или валенки, они выглядели полноценными брюками. К тому же, «военно-полевой» цвет придавал штанам дополнительную мужественность. А кроме того – карман! В такие карманы партизаны и разведчики, оправляясь на опасные дела, засовывали пистолеты и гранаты. Непроливашка тоже удобно устроилась в кармане… Потом уже, задним числом, вспоминалось мне, что Пашка проследил за моими действиями с некоторой опаской. Но в тот момент он о чернилке ничего больше не сказал. Он спешил:

– Меня Вовчик Сазонов ждет. У нас там… одно дело. А ты приходи ко мне вечером, в чапаевцев поиграем или в дурака…

И Пашка ушел по своим важным таинственным делам. Я остался один в нашем длинном одноэтажном доме. Мама была на службе в военкомате. Дядюшка, живший в маленькой проходной комнате, куда-то уехал на несколько дней. Квартиранты Вогуловы, обитавшие в другой проходной комнате, побольше, (дядя Степан, тетя Зоя и дочери их Аля и Римка) тоже были кто на работе, кто в школе. Тишина стояла в комнатах. Только на кухне падали из рукомойника в звонкий таз капли. Но это одиночество ничуть меня не угнетало. Оно мне даже нравилось – свобода! Можно скакать по дому, можно песни петь во весь голос, можно пускать в любой из комнат бумажные самолетики. Правда, потом, когда начнут синеть сумерки, станет неуютно (скорей бы кто-нибудь пришел!). Но до той поры было еще далеко. За окнами сверкал октябрьский день – холодный, но безоблачный. Можно

сказать, лучезарный. И настроение было лучезарное. В основном, конечно, из-за Пашкиного подарка. Ну а кроме того, вообще все в жизни было хорошо. Солнце на дворе горело в желтых тополиных листьях. Мама обещала сегодня прийти пораньше. Я ее порадую пятеркой, которую нынче получил на уроке чтения за стихи о счастливом детстве (в этот час оно было и правда счастливое).

От полноты чувств я попрыгал по очереди на левой и на правой ноге. Погонял по всем комнатам дырявый резиновый мяч. Повыгибался, как на турнике, на трубчатой спинке тети-Зоиной кровати. Скакнув на подоконник, пустил оттуда бумажный истребитель «Лавочкин». Соскочил на пол и… ощутил сзади подозрительную влагу. В том месте, где до сей поры чувствовал лишь приятную твердость непроливашки.

Ой-ей… Я встал спиной к наклонному, висевшему в простенке зеркалу. Вывернув шею, глянул на отражение. Задний карман украшало обширное, похожее на громадного раздавленного паука пятно. Ниже кармана тоже темнели несколько клякс…

Счастливое детство кончилось. Сверкающий за окнами день померк, словно присыпанный золой. Я вынул непроливашку (испачкав при этом пальцы), снял штаны и с горечью разглядел «паука» во всех деталях.

Сколько ни разглядывай, пятно не делалось меньше. Наоборот, оно словно вырастало и набирало дополнительную мрачность. Трусы тоже оказались пропитаны чернилами, но это ладно – они темно-синие, незаметно, да и все равно под штанами… А что под трусами? Я опять извернулся перед зеркалом, стыдливо глянул назад. Лиловое пятно на бледной коже, как и на кармане, напоминало паука, хотя и несколько иной формы. Ладно, оно-то как-нибудь отмоется, а что делать со штанами?

Я догадывался, что пятерка по чтению едва ли защитит меня от справедливого маминого негодования. И оказался прав.

Мама пришла в начале шестого, когда я уже истомился от ожидания неприятностей. Скрывать беду было бессмысленно. Я отчаянно шагнул навстречу неизбежному:

– Мама, вот… – и протянул ей заляпанные штаны. И на всякий случай заревел. И начал сбивчиво излагать печальную историю, бессовестно сваливая всю вину на Пашку. Впрочем, в тот момент я был уверен, что Пашка и в самом деле виноват. Конечно же, он, коварный злодей, нарочно подсунул мне чернилку! «На день рожденья»! А потом будет ехидничать и всем рассказывать, какое место я украсил чернильной заплатой!

Мама, однако, сказала, что во всем виноват я сам. Павлик

сделал подарок, потому что он добрый мальчик, и он никак не мог предусмотреть, что я такая бестолковая, пустоголовая и разгильдяйская личность. Непроливашки сохраняют внутри себя чернила при случайном опрокидывании, но вовсе не тогда, когда глупые первоклассники засовывают их в карманы и скачут, как обезьяны.

Однако слезы мои возымели действие и мамина словесная нахлобучка не была слишком суровой. Кроме того, как ни ругайся, а горю не поможешь.

– Чернила не отстирать никаким способом! – сокрушалась мама.

– Можно покрасить штаны, – всхлипнул я. – У тебя же есть черный порошок, ты им юбку красила.

– Пятно все равно будет выделяться. Кроме того, покрашенная материя сохнет не меньше двух дней. А в чем ты завтра в школу пойдешь?

– Завтра же воскресенье! Дома я могу посидеть вот так… – И я поплотнее запахнул старый дядюшкин ватник, в который предусмотрительно оделся перед маминым приходом.

Мама сказала, что черную краску давно отдала знакомой тете Лизе. Это во-первых. А во-вторых, она из-за меня скоро отправится на тот свет. Кроме того завтра она (и это в-третьих!) напишет о всех моих фокусах папе.

Ссылка на папу означала, что гроза явно идет на убыль.

Папа ушел на фронт, когда мне было три года. Помнил я его плохо. Правда, во время войны он дважды приезжал в кроткие, на пару дней, отпуски, однако вспоминалось мне это, словно кадры из фильма – о чем-то хорошем, но не настоящем… То есть был для меня папа лицом достаточно абстрактным и к тому же очень далеким – все еще служил в занятой нашими войсками Германии.

Но мама была вполне реальной и близкой. И оказалось, что мои неприятности не кончились. Энергичными движениями мама затолкала в печь дрова, разожгла их, а на плиту поставила большущую кастрюлю с водой. Принесла из кухни жестяную лохань. Вначале я смотрел на это без опаски: подумал, что мама решила все-таки попытаться отстирать штаны. Но скоро вода согрелась, была вылита в лохань, а я, вынутый из ватника, поставлен туда на четвереньки.

Рогожной мочалкой, пропитанной жидким кусачим мылом, мама принялась оттирать чернильное пятно на моей кормовой части. А когда я пытался пищать и дергаться, той же мочалкой давала мне воспитательного шлепка. Шлепки не были болезненными, но вся эта процедура уязвляла мою самолюбивую душу. А еще я отчаянно боялся, что вот-вот из школы, со второй

смены, вернется моя младшая соседка, ехидная третьеклассница Римка. И увидит меня в таком непотребном состоянии! Правда, мама заперла нашу дверь ручкой от швабры, но что с того? В дощатой, оклеенной обоями стене Римка проковыряла с десяток незаметных дырок и с удовольствием шпионила за мной чуть не каждый день. Тихо и умело.

К счастью, Римка в тот вечер задержалась. Приближался Октябрьский праздник, Римку в числе прочих третьеклассников готовили к приему в пионеры, и у них был подготовительный сбор. Аля же вообще приходила поздно, у шестиклассников ого-го сколько уроков! К тому же она была умная, меня не обижала и Римку за ее вредности осуждала… Короче говоря, когда Римка, напевая «Хороша страна Болгария», объявилась за стенкой, я уже в чистых трусах и ватнике сердито сопел на кровати. Мама сказала, что пятно с меня смыла не полностью (чернила въедливые!), но это не большая беда. А что делать со штанами?..

И в этот миг меня осенило:

– Ма-а! У тебя в сундуке есть кусок старой гимнастерки! Она почти такая же зеленая, как штаны! Отпори старый карман, а новый пришей! И ничего не будет видно!

Мама покосилась на меня через плечо. Помолчала, обдумывая мой вариант. И, видимо, он показался ей удачным. По крайней мере, это было хоть какое-то решение проблемы. Правда, мама проворчала, что карман придется делать размером с тетрадку, потому что чернила заляпали на штанах половину зада.

– Да хоть с «Гулливера»! – Была у меня книга «Гулливер у лилипутов» большущего формата. Кстати, подарок Пашкиной мамы, тети Лены, к давнему новогоднему празднику.

Мама разложила на столе штаны и «гимнастерочный» лоскут, опустила пониже на раскрученном проводе лампочку, принялась отпарывать старый карман и выкраивать новый. Дело оказалось долгим. В доме тем временем собирались жильцы. За одной стенкой слышались голоса Али и Римки Вогуловых, за другой – Пашки и его матери. Тетя Лена за что-то ругала Пашку, он плаксиво оправдывался.

Наконец мама взяла штаны и вырезанный карман и пошла к Шаклиным. У нас не было швейной машинки, а у тети Лены была. Скоро через стену я услышал, как мама что-то весело говорит Пашкиной матери. Слов было не разобрать, но я понял: рассказывает историю с непроливашкой. Теперь, когда выход из беды был найден, мама про все это говорила со смехом. Смеялась и тетя Лена. Однако среди смеха она сделала перерыв, чтобы порядка ради наорать на сына и дать ему подзатыльник. О подзатыльнике я догадался по Пашкиному воплю:

– Я-то причем, если он такой придурок!

Эти слова я разобрал отчетливо.

Мама, видимо, принялась заступаться за Пашку, потом они с тетей Леной опять засмеялись.

А мне было не до смеха. Я понял, что мирной жизни у нас с Пашкой теперь не будет долго. И оказался прав. Назавтра в школе, на первой же перемене, Пашка обозвал меня нехорошим словом «сиксот», что означало «ябеда», только еще хуже. Потом он стал рассказывать своим дружкам Вовчику Сазонову и Вальке Сидорову, какой я дурак и как перемазал штаны и зад чернилами. Они, глядя на меня, гоготали и вертели у висков пальцами.

– Сам подсунул свою паршивую непроливашку да еще издевается! – закипел я слезами. Отошел к дверям своего класса и добавил: – Пашка, ж… вся в какашках!

Тут мне снова не повезло. Мою гневную реплику услышала Прасковья Ивановна (и откуда она взялась рядом!). Ухватила меня за плечо, отвела в угол у доски и сказала, что я буду здесь стоять весь следующий урок. А потом она расскажет маме, какие слова я кричу на переменах. И весь урок (мой любимый – чтение), я глотал слезы в углу и думал о мести вероломному Пашке Шаклину. Но никакую месть я не придумал. Просто долгое время мы с Пашкой считали себя врагами. Я издалека показывал ему язык, а он мне кулак. Впрочем, не тронул он меня ни разу. Велика ли заслуга дать пинка или тумака щуплому первокласснику, который тут же пустит слезу.

И непроливашку он не требовал назад. Я понимал, что надо бы гордо вернуть подарок, но было жаль. Несмотря на все неприятности, непроливашка мне нравилась. И я убедил себя, что Пашка не любил ее, и потому избавился, а у меня нашла она добрый приют. Как несчастный котенок или щенок, попавший от злого хозяина к хорошему.

Теперь я обращался с непроливашкой аккуратно, и она вела себя как подобает. Мама сшила для нее сатиновый мешочек со шнурком. Я носил чернилку в школу, привязав мешочек шнурком к ручке обшарпанного портфеля. Иногда мешочек цеплялся за сапог или за валенок, но чернила не выплеснулись ни разу.

А с Пашкой мы помирились только перед Новым годом. Он вдруг позвал меня и Римку на городскую площадь, где вокруг большущей елки были построены ледяные горки разной высоты. Когда оказалось, что у меня нет фанерки для катанья, Пашка тут же отдал мне свою, а себе раздобыл у приятелей.

И с того дня началась у нас опять полоса мирной и доброй жизни. Мы часто вместе катались на санках и лыжах (лыжи для меня тоже разыскал в своей кладовке Пашка). Вечерами сидели в

Пашкиной комнате, у печки или лампы. Читали вслух и рассуждали про множество интересных вещей. Например, про путешествие Миклухи-Маклая на Новую Гвинею или устройство древнеримских баллист. Иногда Пашка помогал мне решать примеры и задачки. Вернее, решал их сам и диктовал ответы…

3.

Здесь литературные законы подсказывают мне, что надо бы не затягивать действие и продолжить историю с непроливашкой так, словно все случилось этой же зимой. Но сейчас, в воспоминаниях, не хочется мне уходить от суровой жизненной правды. Наша с Пашкой идиллия продолжалась до конца февраля. А потом в моей жизни все пошло кувырком.

Приехал из Германии отец.

Он приехал, и вместо радости начались семейные неурядицы. Я про них писал в других повестях и повторяться нет смысла. Кончилось тем, что отец уехал в Белоруссию к новой жене, а мы с мамой в конце марта перебрались из моего родного дома на другую квартиру. К человеку, который стал моим отчимом.

Началась непохожая на прежнюю жизнь. Правда, я ходил в ту же, что и раньше, школу, но дом был другой, соседи другие, ребята на дворе и на улице – тоже. Отчим оказался человеком про которого мой дядюшка, дядя Боря, говорил: «Да, не сахар…» А Пашка из прежнего доброго приятеля превратился в бывшего соседа.

Случалось, что мы встречались, когда я забегал в свой прежний дом, проведать дядюшку и старых соседей (в том числе и вредную Римку; даже по ней я теперь скучал). Иногда я у Пашки просил почитать какую-нибудь книгу и потом приносил обратно, однако все это было как-то мельком, случайно.

А непроливашка осталась для меня напоминанием о прежних добрых времена. Бывало даже, что, оказавшись один, я гладил белый блестящий бок и шептал ей ласковые слова…

Потом пришло лето. И жить стало легче. Во-первых, сами понимаете, каникулы. Во-вторых, в нашей прежней комнате, на улице Герцена, поселилась моя старшая сестра, которая вернулась с мужем из Одессы. Теперь я чаще обитал у нее, чем у мамы с отчимом. Здесь было все родное, привычное – и двор со старым тополем, и соседи, и друзья-приятели и даже недруги.

Только с Пашкой мы виделись редко. Сперва он уехал к своему дяде в Ишим, потом в лагерь. А когда вернулся, целыми днями пропадал со своими друзьями на реке, куда меня, конечно, не отпускали.

В сентябре я пошел во второй класс и продолжал жить у сестры, но с Пашкой мы виделись по-прежнему редко. Второклассники учились во вторую смену, а пятиклассники в первую. К тому же Пашка ходил теперь не в нашу начальную школу, а в десятилетку с номером двадцать пять. Иногда по

вечерам я заглядывал к Шаклиными в гости, но чувствовал, что Пашке не до меня. Про мой день рожденья в том году он не вспомнил. И я очередной раз грустно погладил непроливашку: «Хорошо хоть, что ты у меня есть…»

А однажды я чуть ее не лишился. По собственной неосторожности.

Дело в том, что в ту пору я уже отлично знал, как обходиться с непроливашкой. *Что* можно с ней делать, а чего не следует. Можно было, например, крутить ее над головой, взявшись за шнурок мешочка. Чернил при этом не проливалось ни капельки. Так я и крутил однажды на перемене, а шнурок вдруг вырвался из пальцев. Чернилка в мешочке взмыла над партами и понеслась через класс. И брякнулась о доску. Нет, она не разбилась. Но, как всегда, в самую ненужную минуту, в классе оказалась Прасковья Ивановна, и непроливашка стукнула в метре от ее головы. Ну и… не трудно догадаться, что было дальше. Самое скверное, что Прасковья Ивановна отобрала чернилку и сказала, что отдаст ее только маме, когда та придет в школу для объяснений.

Глотая слезы, я побрел из школы.

Мама для объяснений не пошла. Ей не следовало волноваться, она была «на шестом месяце». Пошла старшая сестра. И это ничуть не облегчило мою участь. Сестрица по натуре своей была педагогом (а потом стала им и по профессии) и после разговора с учительницей подвергла меня нудной проработке. Мне была предсказана судьба воспитанника детской исправительной колонии. Были помянуты все мои прежние грехи, в частности ужасный случай в начале учебного года, когда я сбежал с уроков и полдня болтался по городу, опасливо наслаждаясь неведомой ранее «преступной» свободой. А кроме того – двойки по арифметике, мятые тетради, нарисованные в задачнике самолетики, дерзкие слова, сказанные школьной уборщице тете Нюре и многое другое…

Но самого плохого все же не случилось, непроливашку у меня не отняли насовсем. Прасковья Ивановна вручила ее сестре, а та вернула мне. Я принял чернилку с равнодушным видом, чтобы сестра не догадалась о моей привязанности к этой фаянсовой вещице и не сделала ее дополнительным орудием воспитания.

Закончив проработку, сестра стала собираться на ночное дежурство в контору, где служила счетоводом. Муж ее был в командировке, и мне предстояло ночевать одному. Это меня не пугало. Рядом, за стенкой, соседи, в окошко смотрит знакомая добродушная луна, ободряюще бормочет радио. К тому же, можно спать, не выключив лампочку. А перед сном никто не запретит сидеть хоть до полуночи и перечитывать книжку про Гулливера

или Буратино. Правда, сперва надо решить примеры по арифметике на завтра – таково было строжайшее предписание сестрицы перед уходом. Утром придет, спросит…

Я расстелил на столе газету, выложил из портфеля мятую тетрадь и потрепанный задачник (с самолетиками). Привычно затосковал. Какой изверг рода человеческого придумал это мучительное и никому не нужное дело: складывать, вычитать, умножать и делить громоздкие непослушные числа?

Из мешочка я вытащил и утвердил посреди стола непроливашку. Погладил ее мизинцем. И вдруг сразу, без всяких усилий с моей стороны в голове запрыгали стихи:

Раньше ты жила у Пашки,
Но теперь уж не его.
Ты – моя непроливашка,
Много как в тебе всего.

Сперва эти строчки сочинились, а потом уже я удивился. Какие они ловко сложенные и правильные. Главное – правильные. Ведь и правда, в непроливашке *много всего* ! Макаешь в нее перо и вытаскиваешь на нем… все, что хочешь! Буквы, цифры, целые слова и предложения. А еще лучше – рисунки. Можно корабль с парусами, можно самолет или танк, можно рыцаря на коне. А можно и эти самые стихи. Конечно, писать их в тетрадке по арифметике – это новые неприятности на свою голову. Но вот почти чистая промокашка…

Я на чистой промокашке
Где-нибудь часам к шести
О своей непроливашке
Сочиню хороший стих…

Да, нынче я был, прямо скажем, в поэтическом ударе. Кстати, ходики в самом деле показывали без пяти шесть, так что рифмы ничуть н грешили против правды жизни… Только промокашка плохо годилась для письма, перо царапало рыхлую бумагу. Ну ладно, я и так запомню. А с примерами-то что делать? Целых два столбика!.. Может пойти за помощью к сестрам Вогуловым? Но фиг от них дождешься чего хорошего. Римка, может, и помогла бы (несмотря на свою вредность), будь она одна. Но Алевтина тоже дома. Эта вся такая правильная семиклассница-отличница обязательно станет занудно объяснять, что нечестно пользоваться подсказками, надо решать самому. Конечно, я спрошу:

«Зачем?»

А она:

«Чтобы научиться считать. Это умение необходимо каждому.»

Конечно, я скажу (это уже не первый раз), что собираюсь стать не бухгалтером, а моряком. Алька же начнет учительском тоном объяснять, что морякам арифметика тоже необходима. Хоть и отличница, а дура. Каждому нормальному человеку ясно, что морской капитан – это не кассир и не продавец. Он должен знать географию, чтобы не приплыть вместо Америки в Новую Гвинею, и уметь отдавать правильные команды. Но доказывать это девчонкам бесполезно…

В другое время можно было бы сунуться к Пашке, но сегодня – нельзя. Потому что мы опять поругались, в прошлое воскресенье. В нашем дворе была ледяная горка (ребята сами построили), и я попросил у Пашки его большую фанеру для катания, чтобы съехать разок по льду с полным комфортом. Но Пашка не дал. Оглянувшись на приятелей Вовчика и Вальку, он сказал, что я неплохо могу ездить просто так, на собственном заду, потому что он у меня намыленный еще с прошлой осени.

Вот ведь скотина какая! И чего его дернуло вспоминать такую давнюю историю? Я-то думал, что она давно всеми позабыта! Наверно, Пашка решил повеселить друзей за мой счет. Они, конечно, захохотали. Понимают, что я в драку не полезу.

Я отошел к крыльцу и оттуда сказал Пашке, что пусть он страдает за собственный зад, недавно обработанный алюминиевой поварешкой. Дело в том, что тетя Лена накануне сгоряча отлупила ненаглядного сына этим кухонным инструментом. Соседка Таисия Тимофеевна донесла ей, что Пашка на прикрученных к валенкам коньках катается по обледенелой дороге за проходящими грузовиками. В ту пору у многих пацанов это было любимое развлечение. Специальным длинным крючком они цеплялись за кормовой борт полуторки или ЗИСа и мчались на своих «снегурках» по твердой накатанной колее.

Бывало, что такая забава кончалась бедой, если сзади оказывалась еще одна машина. И понятно, что взрослые с такими «крючочными» играми боролись всеми силами. Были и приводы в детскую комнату, и сниженные оценки за поведение и «домашние» родительские меры.

Когда Пашка, спрятав под крыльцом крючок и стуча коньками по половицам, появился с мороза на общей кухне, тетя Лена схватила первое, что попало на глаза – большую поварешку на тонкой гибкой ручке. Взяла Пашку за шиворот и… Я оказался свидетелем этой процедуры и в том момент весьма сочувствовал

Пашке. Длинная обледенелая сзади телогрейка была, конечно, непробиваема, но все же Пашка ревел – с перепугу и от унижения.

Однако сейчас, после вероломных Пашкиных насмешек, всякое сочувствие к нему у меня пропало, и я отчетливо сказал с крыльца:

Пашка – жирная говёшка,
Не забудь про поварешку!

После этого я укрылся в своей комнате и с той поры старался не встречаться с Пашкой ни на дворе, ни в доме.

Так что решать примеры мне пришлось самому. Я делал это уныло и старательно. Потому что, если наляпаешь ошибок, сестрица заставит все переписывать. «Иначе Прасковья Ивановна все зачеркнет да еще скажет: как не стыдно получать двойку в *такой* день!»

4.

Таким днем было двадцать первое января – скорбная дата кончины Владимира Ильича Ленина. Власти, видимо, считали: весь народ настолько угнетен печалью, что трудиться ему в это время тяжело, и траурный день был объявлен нерабочим. Правда, отмечался он не двадцать первого, а двадцать второго – совместно с памятью о Кровавом воскресенье девятьсот пятого года, которое по новому стилю выпадало как раз на это число. А двадцать первого в школах проводились траурные линейки и сборы. Многие пионеры приходили в тот день в галстуках, обшитых черной каемкой – это не было обязательным, но весьма поощрялось. (Пашка свой галстук, конечно, не обшивал, был он лентяй, а Римка и Аля вечером двадцатого долго возились с ленточками из черного сатина; мне же, восьмилетней «беспартийной» личности, красного галстука еще не полагалось).

Перед уроками второй смены второклассников и третьеклассников построили в коридоре и директор Нина Ивановна сказала короткую и печальную речь. Мы все, соответственно обстановке, стояли тихо и с постными лицами. Хотя, по правде говоря, едва ли кто-то испытывал истинную скорбь. Владимир Ильич был для нас чем-то вреде легенды или персонажа из кино. А мысли о завтрашнем выходном, когда можно будет всласть покататься на санках и лыжах, каждому грели душу. В самом деле! Ведь этот неучебный день – единственное светлое пятно в серой тягомотине школьных недель. Зимние каникулы кончились совсем недавно, до следующих, весенних, два бесконечных месяца, а тут хоть какой-то просвет. Этакая лишняя отдушина, кроме воскресных дней.

Но «отдушина» – только завтра, а сегодня, двадцать первого, надо было еще отсидеть четыре урока. Причем по полной программе. На прошлой неделе жилось гораздо легче – в школе кончились дрова, холод в классах стоял такой, что однажды в моей непроливашке застыли чернила. Ни писать упражнения, ни решать задачки в тетрадях было невозможно. Сидели мы в пальто и шарфах. Прасковья Ивановна главным образом читала нам книжки, при чем у ее рта клубился парок. И случалось, что отпускали нас с уроков пораньше. Но три дня назад эта «лафа» кончилась. От печек уютно запахло горящей берестой, пальцы перестали мерзнуть, и учеба потекла с привычной скукотою.

Однако в тот день, двадцать первого января, холод снова начал брать свое. Чернила, правда не застывали, писать пришлось сколько полагается, но на третьем уроке, на чтении, изо ртов

опять пошел парок и Прасковья Ивановна разрешила нам натянуть свои пальтишки и телогрейки. А четвертый урок был совсем зябким. Впрочем, казалось, что так оно и полагается в этот скорбный день. Словно в стихах про умершего вождя: «Как будто он унес с собою частицу нашего тепла…»

Ладно уж, отсидим как-нибудь. Тем более, что не письмо, не арифметика и не чтение даже, а пение. Когда поешь, становится немного теплее. Особенно, если песня по-кавалерийски храбрая, например, «Красный маршал Ворошилов, посмотри на казачьи богатырские полки!..» или революционная – «Смело, товарищи, в ногу…» Но в конце концов пришлось петь и ту, которую мы специально разучивали к Ленинскому дню. Суровую и печальную. На меня эта песня нагоняла погребальную тоску.

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил..

За узкими высокими окнами нашей старинной школы стоял синий мрак – в январе темнеет с четырех часов, а сейчас был уже шестой. От остывшей кафельной печи несло холодом, как от айсберга, о который разбился громадный пароход «Титаник» (мы с Пашкой читали про него, когда жили в мире). Лампочки горели жидким желтым светом, а одна вообще еле светила красной нитью-подковкой и тихо жужжала. Слабые отражения лампочек блестели на моей белой непроливашке. Конечно, они вовсе не грели, непроливашка зябла. Я взял ее в ладони. Она была как ледышка. В моих припухших от ревматизма пальцах сразу толкнулась тупая боль. Но я не выпустил непроливашку, и она понемногу делалась теплее…

Пожилая, утомленная всякими заботами Прасковья Ивановна, куталась в серую шаль и, глядя поверх голов, равнодушно помахивала ладонью, дирижировала. Ей, как и нам, хотелось домой. И конечно же, не очень-то заботил ее уровень песенного исполнения. Поэтому наш второй «А» выл и скулил тягучие строки на разные голоса. Однако в конце песни Прасковья Ивановна встряхнулась. Похлопала ладонью о ладонь и сказала, что пели мы не очень старательно, поэтому придется повторить. Видимо, до конца урока еще оставалось время, а отпускать учеников раньше срока нынче было не велено.

Мы завыли снова:

Замучен тяжелой неволей…

Тягучесть строк была невыносима. Особенно вот этой: «В борьбе за рабочее дело…» Слово «дело» тянулось так долго, что звук «е» рассыпался в нем как бы на отдельные кубики, которые друг за дружкой прыгали вниз по ступенькам:

В борьбе за рабочее де
е
е
е
ело…

Мне эти буквы представились вдруг живыми, с тонкими ручками-ножками. Они деловито скакали по клеткам-лесенкам, спрятанным в заоконном вечернем сумраке. Потом одна промахнулась мимо ступеньки, с перепуга превратилась из маленькой «е» в большую «Е» и устроилась на доске Мавзолея, в слове «ЛЕНИН». Мавзолей обступали острые заснеженные ели. На верху Мавзолея красновато светились продолговатые окошки. Было уютно и совсем не страшно. И я начал вспоминать рассказ отчима, как Владимир Ильич проводит в Мавзолее зимние ночи…

Мой отчим в тридцатых и сороковых годах дважды побывал в тюрьмах и лагерях (конечно, по обвинению в шпионаже), чудом избежал расстрела и в сорок четвертом оказался на свободе благодаря какой-то крохотной бериевской амнистии. Повезло одному на много тысяч. Ему запретили жить в Москве, он осел в Тюмени… Обычно о лагерной жизни он помалкивал, но, выкушав четвертинку и размякнув, иногда начинал откровенничать с мамой и со мной. (Мама каждый раз делала страшные глаза и предупреждала меня, чтобы «никому ни гугу».) Поэтому я был посвящен в гулаговские тайны и методы НКВД задолго до хрущевского доклада… А бывало, что после той же домашней четвертинки, отчим начинал рассказывать анекдоты о вождях или такие вот «новеллы».

«…Зябко ему там и скучно. Ну, если лето, день, посетители, тогда еще ничего, а зимой, ночью… бр-р-р… Вот и завел там Владимир Ильич железную печурку. Вроде той, что была у него в шалаше, в Разливе. Как завел, дело тайное, конспиративное. Наверно, бывшие друзья-подпольщики помогли, которых нынешний вождь и учитель еще не успел тогда прижать к ногтю…

Ну и вот, как только куранты пробьют полночь, Ильич, ежась, подымается, откидывает стеклянную крышку, сползает с возвышения и лезет на корточках под саркофаг. Стараясь не

греметь железом, выволакивает печурку. Налаживает длинную трубу. Выводит ее конец в тайный дымоход, чтобы на площади никто не заметил дыма, а то такой тарарам подымут: «Диверсия! Вредительство! Тревога!» Потом сует в дверцу лучину и старую газету «Искра», для растопки. Хлопает себя по карманам: где спички?

А спичек нет, кончились…

Владимир Ильич, проклиная свою судьбу и мировой империализм, на цыпочках идет к выходу. Тихонько отодвигает дверь. Просовывает голову.

– Товаг'ищ… Эй, товаг'ищ кг'асноаг'меец…

Оба часовых в буденовках перепуганно вытягиваются (хотя и до того стояли по струнке). Тот, что поближе, говорит одними губами:

– Опять… Куда вы, Владимир Ильич? Знаете же, что не положено…

– Мне только ког'обок. На минуточку. Сг'азу отдам, честное коминтег'овское…

– Ну, не положено же, товарищ предсовнаркома. Комендант узнает, меня под трибунал!

– Да как он узнает, этот засг'анец? Кто ему скажет?

– Да вот он и скажет, Владимир Ильич! – часовой подбородком показывает на своего напарника. – Нам приказано все друг о друге докладывать командиру.

– А мы его свяжем кг'уговой пог'укой! Он мне тоже даст ког'обок. И тогда уж не пикнет… Ну, что ты кг'утшься, как Иудушка Тг'оцкий на пег'ине с меньшевистскими клопами! Давай, давай… Оба давайте спички! А то я устг'ою внутг'и такой пог'ом, что всем в Кг'емле станет тошно! Мне тег'ять нечего!

Часовым куда деваться-то? Каждый сует Ильичу спичечный коробок. Потом снова застывают, задрав подбородки. Владимир Ильич ловко разжигает печурку, садится у открытой дверцы на корточки, потирает ладони. Хорошо…

Когда дровишки прогорают, он выкатывает из укромного уголка несколько картофелин, толкает их в угли. Еще из одного тайничка достает заветную фляжку, делает глоточек, другой. Заедает крепкий напиток печеной картошечкой. Совсем хорошо. Можно снова на покой. Владимир Ильич гасит и прячет печку, дует на обожженные ладони и укладывается в саркофаг. До следующей ночи. И с удовольствием вспоминает, что во фляжке остался еще кое-какой запасец. «Пг'екг'асно…»

А часовые на морозе украдкой переминаются и боятся. Ведь Владимир Ильич забыл вернуть им спички. А ну как найдут у него в карманах, да догадаются откуда?.. А впрочем, может быть,

все и обойдется…»

Мама всегда слушала такую импровизацию отчима с перепуганным лицом, с оглядкой на двери и тонкие стены. А я – с удовольствием. Правда, мне было немного жаль Владимира Ильича, но в то же время я радовался, что хоть какое-то время он проводит в удовольствии и уюте.

В том, сорок седьмом, году я еще не знал, что почти всю войну Владимир Ильич пролежал не в Москве, а в нашем далеком от фронтов городе, всего в нескольких кварталах от моего родного дома. В здании сельхозтехникума на улице Республики, рядом с небольшим садом «Спартак».

Надо сказать, здание было подходящее, одно из самых красивых в Тюмени, похожее на небольшой двухэтажный дворец. Его построили в семидесятых годах девятнадцатого века для городского реального училища. Здесь училось немало будущих знаменитостей. Например, революционер Лев Красин, писатель Михаил Пришвин, а потом (уже не в училище, а в техникуме) – разведчик Николай Кузнецов. Но, конечно, самой знаменитой личностью из когда-либо обитавших в этих стенах – хотя уже и после кончины – был Владимир Ильич.

В окружении величайшей тайны летом сорок первого года саркофаг с телом Ленина привезли в Тюмень, а назад, в столицу, отправили только в марте сорок пятого. Говорят, в техникуме он стоял в одной из аудиторий на втором этаже. Здесь висела та же торжественная тишина, что в Мавзолее, так же менялся караул, только все было окружено крепчайшими секретами.

Официально эти секреты были раскрыты только лет через сорок после войны. Но… абсолютных тайн не бывает. О том, что во время войны Ленин «гостил» у нас, я знал от взрослых еще пятиклассником, кажется в сорок девятом году. А в середине пятидесятых наш преподаватель истории уже открыто рассказывал на уроке про эту деталь посмертной ленинской биографии.

Кстати, учителя были, видимо, первыми из тех «посторонних», кому стала известна эта замораживающая душу тайна. И немудрено. Ведь забальзамированного вождя сопровождала целая бригада ученых во главе со знаменитым профессором Б.И.Збарским – надо было постоянно следить за состоянием тела. Все они, сохраняя тайну и поддерживая свой статус «обыкновенных эвакуированных», стали преподавать в разных школах и училищах. Профессор Збарский познакомился с учителем математики Петром Юлиановичем Хайновским. И не просто познакомился, а спас его от большой беды. Осенью то ли сорок первого, то ли сорок второго года Петр Юлианович с

бригадой школьников поехал в колхоз на уборку картофеля. Там ему пришлось однажды заводить старый, всегда барахливший трактор (кажется, колесный ХТЗ). Несчастный, изможденный голодом учитель-интеллигент, поминая несвойственными ему словами «издохший утиль», яростно дергал железную ручку, но трактор был холоден и мертв. Петр Юлианович остановился на секунду, чтобы перевести дух. И тогда подлая машина вдруг чихнула, и ручка крутанулась сама собой. Железным концом она врезала учителю по скуле. Очнулся он в больнице.

Рана долго не заживала, один глаз был сильно поврежден, врачи говорили, что его следует удалить, чтобы не воспалился и другой. Петр Юлианович уже смирился с судьбой, но вмешался в это дело Збарский. То ли он сам взялся за лечение, то ли привлек эвакуированных в Тюмень столичных окулистов, но так или иначе глаз Петру Юлиановичу спасли. Учитель Хайновский и профессор Збарский стали друзьями. Тогда-то профессор и приоткрыл другу великую тайну.

Я не уверен, что в точности передаю эту историю. Но стараюсь рассказать ее так, как слышал от Петра Юлиановича. Он последние годы своей жизни – уже совсем старенький, седой – провел в Свердловске, у сына. Я иногда навещал его. Мы собирались у стола, сын Валентин приносил из кухни пироги, которые готовил великолепно, его жена Лора разливала чай. Валентин, Лора и я были выпускниками одной тюменской школы – номер двадцать пять – и почти одногодками. А Петр Юлианович в пятидесятых годах был там учителем и завучем. Нам хватало тем для воспоминаний. Впрочем, Петр Юлианович касался в своих рассказах и тех времен, когда нас не было на свете или были мы дошколятами.

Во время одного из таких застолий он и рассказал о профессоре Збарском.

В подтверждение своего рассказа Петр Юлианович дал мне почитать книжицу в бумажной обложке – сочинение профессора Б.И.Збарского. В ней рассказывалось, как ученые бальзамировали тело Ленина. Называется книжица «Мавзолей Ленина», издана в 1944 году, в память о двадцатилетии со дня кончины вождя. На титульном листе – профессорский автограф:

Дорогому Петру Ульяновичу Хайновскому на память о нашей совместной работе в школе.

Б.Збарский -

Тюмень., 8/ V 1944 г.

Не «Юлиановичу», а именно «Ульяновичу». Так в обиходе именовали его и школьники, и взрослые. Видимо, потому, что польское имя «Юлиан» было непонятно для сибирских жителей.

Помню, как в школьных коридорах, во время шума и слишком резвых развлечений, не раз слышались опасливые вскрики: «Пацаны, атас, Петр Ульяныч идет!» Нельзя сказать, что он был слишком строг, но он был завуч, а завучей полагается бояться.

Кстати, с нашим семейством учитель Хайновский был знаком еще до войны. С отцом они работали в одной школе и питали друг к другу самые добрые приятельские чувства (может быть, оттого, что в обоих – польская кровь). Он учил моих старших брата и сестру. Учил и меня – вплоть до десятого класса. Память о старых знакомствах не мешала Петру Юлиановичу проявлять строгость и объективность. На выпускном устном экзамене по математике он вкатал мне тройку. Правда, перед этим спросил, действительно ли я собираюсь в гуманитарный вуз, где математика не нужна. Я не затаил никакой обиды, потому что в алгебре и тригонометрии был полный профан. Спасибо, что хоть тройку-то натянул…

При наших «взрослых» встречах Петр Юлианович открывался мне по-новому. Оказывается, в молодые и в «не очень старые» годы был он любителем веселых компаний и преферанса, не отказывался от рюмочки и вообще не чурался радостей жизни. Впрочем, рассказывал он не только о радостях. Говорил и про те времена, когда каждую ночь люди спали в полглаза, боясь шума мотора за окнами и стука в дверь. За каждым могли «прийти». Среди учителей проводились собрания, где клеймили «врагов народа, разоблачить которых вовремя мы не сумели из-за отсутствия революционной бдительности». Царила на таких собраниях громкоголосая и грузная школьная уборщица – баба безграмотная, но «благодаря своему партийному стажу обладающая безошибочным классовым чутьем».

Кстати, газетные строки и радиовопли о необходимости «искоренять ротозейство и повышать бдительность» я помню и сам. Они вдруг зазвучали вновь в конце пятьдесят второго года, когда я учился в седьмом классе (помню, как почернели у отчима и мамы лица). Это «наши славные органы» по указанию «отца всех народов» начали раскрутку дела «убийц в белых халатах». Многие знаменитые медики без всякой вины попали за решетку. Оказался среди них и профессор Збарский, не спасли его заслуги в бальзамировании ленинского тела.

К счастью, на небесах, кажется, кончилось терпение. Видимо, Господь рассудил, что, хотя людям и дана свободная воля, но должен же быть предел. И прекратил земное существование «великого продолжателя дела Ленина», нарушив тем традицию кавказского долголетия. «Злодеи, шпионы и убийцы» вскоре

оказались на свободе, а Иосиф Виссарионович занял место рядом со своим учителем. Правда не надолго. Но пока он обитал в Мавзолее, появилось немало анекдотов, как два вождя, лежа рядом, выясняют отношения. Едва ли они мирно топили печурку и делили на двоих вынутую из загашника четвертинку…

Петр Юлианович Хайновсий умер несколько лет назад. В Екатеринбурге у него было не так уж много знакомых, и похороны получились скромные, тихие. Другое дело, если бы это случилось в Тюмени – в городе, которому Петр Юлианович отдал всю свою учительскую жизнь. Так я и сказал в последнем слове, при прощании в крематории… Урну увезли в Тюмень, и там действительно собралось на траурный митинг множество людей. Петра Юлиановича в Тюмени с благодарностью вспоминают до сих пор.

В сквере на улице Республики, почти напротив здания сельхозтехникума (сейчас – Сельскохозяйственная академия) стоит бронзовый памятник выпускникам тюменских школ, ушедшим на фронт в годы войны с фашистами. Щуплый парнишка в пилотке, с длинной винтовкой-трехлинейкой и тоненькая девушка сплели руки в последнем прощании… Это памятник не только юным солдатам, но и старому учителю, ибо поставлен он по его инициативе и после его великих хлопот…

5.

Но я далеко ушел в своих воспоминаниях от январского вечера сорок седьмого года, когда второклассники в холодной школе пели похоронную песню… Впрочем, я, оказывается, уже не пел. Припомнивши рассказ отчима о ночном времяпровождении Владимира Ильича, я тихонько улыбался. Прасковья Ивановна сделала перерыв между куплетами и сурово поинтересовалась:

– Владислав! Почему ты ухмыляешься, когда мы исполняем *такую* песню? Что в ней смешного? – Она всех называла полным именем, если сердилась.

Но я был не лыком шит и сразу нашел оправдание:

– Ничего я не ухмыляюсь! Просто губы перекашиваются от холода! – И в доказательство выдохнул весьма заметное облачко пара.

– Скоро пойдем домой, – примирительно пообещала Прасковья Ивановна.

Домой – это замечательно! Там уже наверняка топится печка. И готовится ужин. Приду – и сразу к чугунной дверце, за которой потрескивают дрова.

Я, не меньше, чем Владимир Ильич, любил посидеть у открытой печной дверцы, пошевеливая в углях обугленную картофелину. А еще больше любил поджаривать на горячей плите тонкие картофельные ломтики. Сейчас про них сказали бы «чипсы», но тогда такого слова не знали. Да и не совсем это были чипсы, вкус другой. Внутри ломтика, между двумя корочками, покрытыми коричневыми пузырьками, сохранялся тонюсенький слой горячей мякоти. А снаружи эти картофельные кружочки надо посолить. Кстати, когда крупинки соли попадают на раскаленную плиту, они стреляют, как бумажные пистоны…

Предвкушая эти радости жизни, я бодро топал подшитыми валенками по спрессованному снегу тротуара. По улице Ленина, мимо старинной Спасской церкви, где в ту пору была областная библиотека. Морозец покусывал щеки, но не сильно, играючи. Уже совсем стемнело, но из сугробов у дороги торчали телеграфные столбы, а на них под кривыми эмалированными тарелками горели лампочки – уличные фонари того времени.

В свете такой лампочки я увидел на затоптанном снегу непонятную желтую деревяшку. Размером с мизинец. Поднял. Это была продолговатая печать – резиновый штампик от детской игры. Плоская резинка была густо пропитана красной мастикой. Я подышал на печатку, притиснул к ладони. На коже (вот чудо-то!) появился великолепный лев. Крохотный, но тем не менее

могучий и благородный. Он замер на ходу и повернул ко мне пышногривую голову. Смотрел терпеливо и снисходительно.

Я пошевелил ладонью. Лев словно ожил. Душа моя возликовала. В находке чудилось что-то волшебное. На тыльной стороне ладони я оттиснул еще одного льва (получилось, будто красная татуировка). Потом отпечатал его на штукатурке недавно побеленной церкви-библиотеки. Булькая от радости, я свернул на улицу Дзержинского и вприпрыжку двинулся к дому.

Вообще-то можно было бы об этой находке не упоминать. На сюжет она не влияет (да и где он, сюжет-то?). Но, с другой стороны, вспоминая тот зимний вечер, я обязательно вспоминаю и красного льва. И радость от находки. Все же она, видимо, не зря случилась, если помнится более, чем полвека. Что-то в ней было. Может быть, намек на новые радости?

Итак, я прыгал на протоптанной вдоль заборов и домов снежной тропинке. По сугробам, в свете падавших из окон лучей, прыгала моя тень. А рядом с портфелем, привязанная к ручке, прыгала одетая в сатиновый мешочек непроливашка – тоже радовалась.

– Я отпечатаю на тебе льва, – пообещал я. – Будешь с картинкой.

Непроливашка запрыгала еще веселее.

Дома, однако, радости поубавились. Оказалось, что печка уже протоплена и жарить картофельные ломтики нынче не придется. Кроме того, сестра сказала, что должна уйти по делам к какой-то знакомой и вернется часам к девяти (а это значит – не раньше, чем к одиннадцати). Выходит, мне опять придется сидеть весь вечер одному.

– Нечего кукситься, – сказала сестрица. – Сделаешь домашнее задание по арифметике, и я к тому времени как раз вернусь.

– Ну, какое опять задание! – взвыл я. – Завтра же мы не учимся!

– Вот именно. Завтра будешь весь день свистать на улице, на лыжах да на санках, а к вечеру начнешь клевать носом и ничего толком не решишь. Уроки надо делать заранее… Макароны в кастрюле на плите, хлеб в шкафу, чайник на табуретке, завернут в ватник. Поужинай и садись решать. – Она была неколебима в своих педагогических требованиях.

Я поужинал. Но с домашним заданием не спешил. Занялся львом. Вынул из мешочка непроливашку, оттиснул красного льва на блестящем белом боку. Отпечатался он бледновато и не очень четко. Я сразу понял, что картинка не долго будет держаться на гладком фаянсе, ткань мешочка почти сразу сотрет ее по дороге в школу. Ну, что поделаешь, пусть хотя бы немного покрасуется…

Затем я оттиснул льва на задачнике, чтобы хоть слегка украсить эту ненавистную книжку. Но ведь и любимые книжки заслужили такое украшение! И я отпечатал африканского зверя сперва на «Приключениях Гулливера», а потом на «Пушкинском календаре» издания 1937 года. Этот календарь сохранился до нынешних дней. Красный лев, ничуть не постаревший, по-прежнему снисходительно смотрит на меня с титульного листа. И, наверно, как и раньше видит во мне смешного бестолкового второклассника, обрадованного неожиданной находкой.

Кстати, красная мастика на резиновом штампе не иссякала, сколько бы я ни отпечатывал льва – на полях старых газет, на обоях, на промокашках. Прямо волшебство какое-то!

Я наконец подумал: а не постучать ли в стенку Пашке и не похвастаться ли таким волшебством? Может быть, тогда помиримся! И едва появилась эта мысль, как Пашка постучал сам!

– Чё надо? – вопросил я громко и насупленно, давая понять, что помню прежние обиды. И услышал:

– Славка, зайди ко мне! Помоги одно дело сделать!

Раз человек говорит «помоги», тут не до обид! Я заторопился. Опасений у меня не было. Как бы мы ни ссорились, Пашка никогда не опускался до такого коварства, чтобы заманить меня к себе для сведения счетов.

Я выскочил в полутемную кухню и дернул Пашкину дверь.

Пашка был один. Старший брат Володя, конечно, еще сидел на уроках в техникуме, а тетя Лена работала контролером в кинотеатре «Темп» и приходила домой только после начала последнего сеанса. В комнате пахло дымом. Пашка сидел перед печкой у раскрытой дверцы. Рыжеватая щетка волос на его макушке искрилась в отблесках пламени. Он оглянулся через плечо.

– Иди сюда…

Я подошел. Пашка держал обмотанный тряпкой железный прут. Конец прута уходил в печную дверцу, калился там.

– Крючок будешь делать? – понял я. Видимо, тетя Лена отыскала и отобрала старый Пашкин крюк-цеплялку, и теперь он готовил новое снаряжение, чтобы ездить за машинами. Известно, что такая вот толстая проволока легко гнется, когда ее разогреешь в огне.

Но Пашка сказал:

– На фиг мне крючок, если мать коньки отобрала… Прожигать буду…

– Чего прожигать? – заморгал я.

– Вот это… – Рядом с Пашкой стоял сосновый чурбак. Сверху к нему двумя кривыми гвоздями был прибит обрезок толстой

доски, размером с тетрадку. – Я буду прокалывать доску, а ты держи бревно, чтобы не елозило. А то ствол выйдет косой…

– А, наган делаешь!

В ту пору у многих мальчишек были деревянные пистолеты. Стреляли они с помощью резинки горохом или сухими ягодами. Вытесать из доски такое оружие было не так уж трудно (даже я справился бы при желании), а вот проделать в нем «дуло» – задача крайне сложная. Никаких дрелей и коловоротов у ребят, конечно, не водилось. Вот и приходилось прожигать ствол раскаленной толстой проволокой.

Я с готовностью уселся на пол и обхватил чурбак ногами и руками (а печатку со львом все сжимал в кулаке). Пашка вытянул железный прут из печи. Конец прута светился малиновым жаром. Пашка деловито нацелился этим концом на срез доски и точно вогнал его в древесину. Проволока вошла как в масло. В нос мне ударил едкий дым, вспухло сизое облако. Я зачихал, но чурбак не шевельнул. Нельзя его шевелить, иначе получится не дуло, а кривулина. Впрочем, дым, послушный печной тяге, тут же втянулся в открытую дверцу. А Пашка, налегая на прут, сказал:

– Покашляй и дыши почаще. Сейчас все пройдет.

Я послушно покашлял и подышал.

Прут дошел до середины обрезка и остыл. Пришлось разогревать его снова. И опять – горячий дым, щипанье в глазах. Но зато проволока наконец выскочила из другого торца обрезка.

– Ура, наша победа! – разом сказали мы с Пашкой.

Можно было передохнуть.

Пашка взял со стола вырезанный из картона пистолетный контур. Очень аккуратно наложил на доску, обвел карандашом. Оторвал обрезок от чурбака, пристроил на табурете. Вытащил из угла за печкой ножовку. Ясно стало, что теперь начинается работа мастера, при которой моя помощь не нужна. Сразу стало грустно.

– Ну, чего… Тогда я пойду?

– Да куда ты! – вскинулся Пашка. – Подожди. Мне же… скучно тут одному-то.

– Сестра велела арифметику делать, – вздохнул я для порядка.

– Делай здесь. Принеси тетрадь, задачник и решай! А я подскажу, если что…

Неужели будет как раньше?!

Я быстро притащил все, что надо. В том числе и непроливашку. При этом, правда, неосторожно смазал с нее мизинцем львиный хвост, ну да ладно…

Печать со львом я завернул в промокашку и спрятал в карман.

На Пашкином столе стояла старинная уютная лампа с зеленным стеклянным абажуром. Я разложил под ней тетрадь и задачник, макнул в непроливашку перо… И дальше все пошло замечательно. Пашка скреб пилой по дереву, но время от времени оставлял работу, заглядывал мне через плечо и подсказывал ответы. Он и сам не очень силен был в арифметике, но все же знания и опыт пятиклассника не шли в сравнение с моими.

Где-то через полчаса примеры был «расщелканы», а у Пашки появился на свет еще не оструганный, не отделанный, но уже весьма впечатляющий «наган». (Следует сказать, что все самодельные пистолеты, независимо от размера и вида, мы называли наганами). Пашка дунул в ствол и глянул сквозь него на лампу.

Отделка заняла довольно много времени. Пашка остругивал кухонным ножом рукоятку и боковые стороны ствола, потом скреб их кусочком стекла. А мне он доверил выстругивать палочку-ударник с набалдашником на конце. Нельзя сказать, что я полностью справился с этой задачей, но все же посильную долю труда внес, и Пашка сказал «молодец». Затем он погонял палку-ударник, словно шомпол, по стволу. Оружие было почти готово.

Действовали эти пистолеты так. Ударник оттягивался на резинке и краем набалдашника зацеплялся за тыльный срез пистолета, над рукояткой. Потом следовало прицелиться и ногтем большого пальца надавить набалдашник снизу. Ударник срывался, бил в стволе по «пуле». Чем крепче резина, тем сильнее выстрел.

– А есть она, резина-то?

Пашка поскреб щетинистое темя.

– Щас поищем…

Он вытянул нижний ящик комода, где тетя Лена хранила всякое мелкое хозяйство: лоскутки, наперстки, мотки ниток, ножницы, веревки и бельевые прищепки.

Мы добросовестно перерыли весь ящик. Напрасно.

– Ну был же целый клубок резинки! – сокрушался Пашка. – Мама недавно мне в трусы продергивала. Куда спрятала?

– Может, взять от рогатки? – осторожно посоветовал я. Рогатка у Пашки была замечательная, с тугой красной резиной.

– Да рогатку она отобрала вместе с коньками…

Я в точности как Пашка поскреб темя. Стряхнул валенок, засучил штанину и стянул с ноги круглую подвязку, которая прихватывала над коленкой длинный штопаный чулок. Она была из узкой бельевой резинки. Чулок сразу противно обмяк и поехал вниз, но я сунул ногу в валенок.

Резинка оказалась в самый раз. Пашка сложил ее в двойное

кольцо, надел на пистолет. Щелкнул ударником. Раз, второй. Потом протянул мне:

– На…

– А сколько раз можно щелкнуть? – спросил я, понимая, что отношение к чужому оружию требует деликатности.

– Да сколько хочешь. Это же твой наган.

Я замигал.

– Почему… мой?

– Ну… так, – хмыкнул Пашка. – Потому что подарок. Сделал и подарил… Нельзя, что ли?

Что его подвигло на такую щедрость? Может, виноватость из-за того, что недавно зря обидел меня? Или просто захотел порадоваться м о е й радостью? Ведь бывает, что подарить кому-то хорошую вещь не менее приятно, чем иметь самому… Или просто потому, что был он вот такой Пашка – то насмешливый и вредный, то добрый и даже ласковый. Конечно! Он не раз показывал свою доброту и раньше. Наример, когда подарил непроливашку! Ведь не хотел он, чтобы я перемазался чернилами, подарил от души! А в неприятностях со штанами я сам виноват!

– Ну-ка примерь, влезет ли в карман, – посоветовал Пашка.

Штаны на мне были, те самые, прошлогодние. Они стали покороче (то ли ссохлись, то ли я подрос), нижние края их иногда вылезали из широких валенок, но карман ничуть не уменьшился. И наган уместился в нем, будто сделан был по заказу.

– В самый раз!.. Паш… А я тебе вот это. Тоже в подарок… – И я протянул ему красного льва.

Пашка подарок оценил. С удовольствием оттиснул льва на Володином журнале «Вокруг света». Потом мы украсили львом боковые стороны пистолетного ствола. Красная мастика прекрасно впечаталась в оструганное дерево.

– Ну, давай испытаем наган! – сказал Пашка.

Мне и самому не терпелось.

– А чем стрелять?

Пашка сказал, что где-то у его мамы был запас сухого гороха. Стал шарить в шкафу и на полках у печи. Банка из-под гороха нашлась, но оказалась почти пустой. На самом дне мы обнаружили только десятка два горошин. Ну, для начала годилось и это.

А еще нужны были мишени. Пашка решил, что лучше всего стрелять по игральным картам. Он сказал, что раньше гусарские офицеры любили бить из старинных кремневых пистолетов «прямо в туза». Я подумал, что едва ли мы попадем из нашего оружия не только в туза но и в саму карту. Но, конечно, не спорил.

Однако растрепанную карточную колоду Пашка не нашел. Видимо, тетя Лена спрятала карты вместе с проволочным крюком, коньками и рогаткой – чтобы беспутный сын не предавался с приятелями азартным играм в «дурака» и «пьяницу».

– А может, достать солдатиков? – нерешительно предложил я.

…В какой-то повести я уже упоминал о пухлой канцелярской папке, в которой хранились Пашкины картонные солдатики. Но сейчас хочу вспомнить о ней подробнее. Если говорить точно, солдатики были не Пашкины, а его отца. Отец их коллекционировал. Рисовал на картонках и вырезал солдат, офицеров и генералов разных стран, раскладывал их по армиям и полк ***а*** м… Это невинное развлечение дорого обошлось Григорию Ивановичу Шаклину. В сентябре тридцать седьмого года, его арестовали и обвинили в чем-то вроде агитации в пользу западных и белогвардейских армий (хотя в коллекции было немало и красноармейцев в буденовках). Не знаю, может быть это обвинение было не самым главным, потому что папку с солдатиками даже не забрали, как вещественное доказательство. Но в семье Шаклиных и среди соседей говорили – виноваты солдатики.

Впрочем, Шаклины папку не выкинули и не предали проклятию. Может быть, тетя Лена суеверно считала, что пока солдатики целы, сохраняется шанс на возвращение мужа. Иногда она (правда не очень охотно) давала солдатиков Пашке и мне – поиграть. А порой, когда матери не было дома, Пашка вытаскивал их сам. Мы устраивали на полу парады и сражения. Ставили в шеренги красных бойцов и краснофлотцев, шотландских стрелков в клетчатых юбках, французских гренадеров и генералов в пышных эполетах, турецких янычар в чалмах…

Были здесь и немецкие солдаты. В глубоких касках, с тяжелыми ранцами. Еще «довоенного образца», но очень похожие на тех, которое напали на нас в сорок первом году…

Надежда на возвращение Григория Ивановича не сбылась. В пятидесятых годах тете Лене сообщили, что он во время войны умер в лагере. Так все и думали долгое время. Но и это оказалось неправдой.

Недавно я приезжал в Тюмень и зашел в редакцию газеты «Тюменский курьер». Ее главным редактором был Рафаэль Соломонович Гольдберг, с которым мы когда-то вместе учились в Свердловске, в университете. Посидели, повспоминали… Я, глотнув рюмку-другую коньяка, нырнул в своих воспоминаниях не тлолько в студенческие времена, но и глубже, в детство сороковых годов. Была на то причина. Редакция располагалась в крыле большущего здания горисполкома, которое построили на

месте моего родного деревянного квартала. И крыло это, как я прикинул, оказалось как раз там, где когда-то в длинном одноэтажном флигеле находилась тесная Пашкина квартирка.

Вспомнил я и наши игры, и солдатиков, и горькую судьбу того, кто их когда-то мастерил…

Рафаэль Соломонович переспросил фамилию. Поднялся. Взял с полки два тяжелых тома. Это была «Книга расстрелянных» – скорбный список тех, то погиб на территории Тюменской области от рук НКВД в годы большого террора. Составлению этого мартиролога журналист Гольдберг отдал немало сил. На двести шестнадцатой странице нашли нужное имя. Оказалось, что Пашкин отец, старший бухгалтер транспортной конторы Тюменского торга, был расстрелян в Тюмени 12 октября 1937 года… (Фамилии в этой повести слегка изменены, но внимательный читатель, если захочет, разберется).

Потом мы с Рафаэлем поехали на улицу Полевую, где из обломков здания тюменского НКВД сложен скромный памятник невинно погибшим. Он стоит на месте захоронения многих жертв репрессий. В кирпичной стене темнеет окошко со вмурованной подвальной решеткой. По кирпичам тянется лента из черного лабрадора. На ней слова: «Никогда больше». Написано это трижды: на латыни – вечном языке всех времен, по-русски – на языке нашей многострадальной страны и по-татарски – на языке давних и многочисленных жителей Тюменского края.

На той же книжной странице, где сведения о Пашкином отце, есть слова Рафаэля Гольдберга: «Мир все равно изменится к лучшему. А самое главное, вернусь к тому, с чего начал: никто и никогда нам с вами ночью не постучит в дверь».

Дай-то Бог…

А Пашку, то есть Павла Григорьевича Шаклина, я в тот приезд так и не увидел. Звонил, звонил ему, но телефон не ответил.

6.

…Ну ладно, опять я отвлекся. Вернусь в тот январский вечер сорок седьмого года. Пашка вытащил из ящика комода папку. Мы тесной шеренгой (чтобы меньше было промахов) расставили на краю стола немецких солдат. А в кого еще стрелять-то!

Стреляли метров с трех. Садились верхом на стул, животом к спинке, брали наган в две руки, упирались в спинку локтями и палили горошинами по врагам. Строго по очереди. У Пашки получалось, конечно, лучше, но и я после десяти выстрелов сбил трех «фрицев». Потом кончились боеприпасы. Мы бросились собирать горошины на полу, но отыскали, разумеется, не все – в полу были щели. А после повторной стрельбы горошин осталось всего пять штук.

Пашка забрался с ногами на высокий комод. Там стоял старинный граммофон с трубой и несколько шкатулок затейливого вида. Он открыл одну и отыскал в ней стеклянные шарики от рассыпавшихся бус тети Лены. «Все равно они не нужны». К сожалению, шарики не все подходили по калибру, многие были слишком крупными. Скоро стеклянный боезапас был растрачен, а стрелковый азарт не иссяк. И Пашка взял с комода еще одну шкатулку – «аптечную». Там нашлась облатка с мелкими таблетками ярко-желтого цвета.

– Смотри, в самый раз…

– А может, это нужное лекарство? – сказал я опасливо.

– Да никому ни на фиг не нужное! Оно тут уже который год валяется…

Лимонными пилюлями мы сразили еще несколько солдат вермахта. Правда, летели эти таблетки не так точно, как горох и бусы. Одна даже угодила в мою непроливашку, что стояла на боковой кромке стола. И не в бок попала, а прямо внутрь. Я слегка забеспокоился: не испортятся ли чернила? Но Пашка сказал:

– Да какая холера с ними случится…

В это время разом явились домой Пашкин брат Володя и моя сестрица. Какая уж тут стрельба! Я сразу был востребован домой и ушел, ощущая в заднем кармане приятную тяжесть пистолета. А Пашка остался украшать красным львом свои учебники и книжки.

Сестра проверила мое задание по арифметике.

– Небось, тебе все примеры Павел решил?

Я дипломатично промолчал.

– Мог бы и по письму сделать упражнение.

Эти неосторожные слова дали мне законный повод ля

возмущения:

– Я, что ли, лошадь какая-то? Пахать без отдыха!..

За упражнение по письму я сел только вечером следующего дня. Обмакнул перо в непроливашку. Вывел первую букву. Обалдело замигал. Чернила были изумрудного цвета.

Сестра долго не могла поверить своим глазам.

– Что это такое ты с ними сделал?

– Ничего я с ними не делал! Сами перекрасились! Откуда я знаю, как? Стояли, стояли, и вот!.. При чем тут я?!

Мое негодование было почти искренним. Ведь в самом деле, я мог и не заметить, как вчера в непроливашку угодила желтая пилюля! То, что желтое в смеси с темно-синим и фиолетовым образует зеленый цвет, я прекрасно знал, но не собирался делиться сестрой этим соображением. И она, как ни странно, поверила в мою невиновность. Только пожала плечами.

– Представляю, что скажет завтра Прасковья Ивановна…

Прасковья Ивановна сказала:

– Владислав! Это что за новый фокус! Почему у тебя в тетради зеленые чернила?

– Я сам не знаю! Были нормальные и вдруг сделались такие.

– Что ты морочишь мне голову!

– Ничего я не морочу! Вчера начал писать – и вот… А других у меня нету.

– Меня это не касается.

– А почему нельзя писать зелеными?

– Потому что не полагается. Школьники должны писать химическими чернилами.

«Химическими» тогда назывались фиолетовые чернила.

Меня «заело». Такое со мной случалось иногда в отношениях с Прасковьей Ивановной. Если я был уверен в своей правоте.

– Все же я не понимаю. Чем зеленые хуже химических? Главное, чтобы все было написано правильно!

– Вот за такое «правильно» зелеными чернилами я буду снижать тебе оценку на один балл.

– А у меня других нету, – упрямо повторил я. И продолжал писать зелеными. И дома, и в школе. Двоек за это я, правда, не получал, но тройки шли сплошняком. Класс с интересом наблюдал, кто кого переупрямит: я «Прасковьюшку» или она меня.

Наконец, Прасковья Ивановна пожелала побеседовать с моей мамой.

– А она не может прийти в школу, – сообщил я с тайным злорадством.

– Это почему же?

– Придите в гости, сами увидите, – независимо отозвался я.

Прасковья Ивановна не поленилась, пришла. И увидела, что маме сейчас действительно не следует много гулять: момент появления моего братишки на свет был уже недалек. Это обстоятельство смягчило Прасковью Ивановну, однако она все же просила маму «снабдить Славика чернилами, какие положены в школе». Мама обещала.

Но выполнить обещание было нелегко. «Химических» чернил ни дома, ни у сестры не оказалось. У сестры вообще не было никаких, она писала автоматической ручкой (редкая в ту пору вещь), которую привезла из Одессы. А в чернильнице отчима на донышке поблескивала бледно-синяя жижица, которая годилась для школы не больше, чем ярко-изумрудный раствор. Надо было идти на рынок-толкучку за чернильным порошком или за «химическим» карандашом, из грифеля которого можно было настрогать тот же порошок. Но идти было некому (не меня же, восьмилетнего растяпу, посылать!).

– Попроси у Павлика или у девочек, – говорила мама. Но я отвечал, что у Павлика нет, а с девчонками-соседками я поругался.

Я хитрил. Дело в том, что новые чернила пришлось бы наливать в какой-нибудь аптечный пузырек и таскать его в школу вместо непроливашки. Такой поступок мне казался недостойным. Получилось бы, что я предал свою любимую чернилку. Кроме того, это могло послужить дурной приметой, а я в ту пору был весьма суеверен.

Я понимал, что выход один: поскорее освободить непроливашку от зеленых чернил. Но как? Потому эта чернилка и «непроливаемая», что до конца вытрясти из нее жидкость никогда не удается. Чтобы заляпать штаны – пожалуйста, а досуха – никак. Расходовались же зеленые чернила очень медленно. Наверно, хватило бы до весенних каникул.

Спас меня, сам того не ведая, отчим. Однажды он вернулся с работы необычно рано. Я в тот день обитал не у сестры, а дома. Отчим сообщил, что пришел перекусить, а потом снова отправится в свою контору. Там какой-то деятель из райкома партии будет всем сотрудникам читать лекцию о «новом этапе строительства социализма в послевоенный период». Было заметно, что перед приходом отчим уже успел перекусить. Точнее, закусить. А перед закуской принять порцию водочки. Попахивало от него изрядно. Судя по всему, он с кем-то из приятелей заглянул в подвальную забегаловку на углу Первомайской и Вокзальной (называлась она «Метро»).

После тарелки щей и немалой дозы жареной картошки отчим

осоловел и прилег на кровать. Мама смотрела на него, покачивая головой.

– Как же ты пойдешь на лекцию? В таком-то виде…

– А я и не пойду, – ответствовал отчим. Как всегда после дозы, равной четвертинке, он погрузился в беспечность и умиротворение.

– Тебе же попадет! Ты же понимаешь, что отметят всех, кто не пришел!

– Скажу, что заболел…

– Так тебе и поверили! Такие лекции – обязательные! Это же про социализм…

Негромко, но внятно отчим сообщил с кровати:

– Проблемы строительства социализма, нужны мне, как дохлому Бобику клизма…

Мама в панике заоглядывалась на тонкие фанерные стены. Потом плачущим тоном пообещала:

– За свой длинный язык ты опять окажешься *там* …

Но отчим уже мирно посапывал в подушку. На его блестящей, с прямым пробором прическе блестел зайчик от лампочки.

А меня вдруг осенило! Я вспомнил детскую клизму из рыжей резины, которой иногда играл, как мячиком. Эту клизму я звал «Буратино» за ее длинный острый нос. Нажмешь резиновый шарик, сунешь «нос» в воду, наберешь ее внутрь, и можно брызгать в приятелей – это летом, в жару… Но ведь можно таким же образом высосать из непроливашки чернила!

Клизму я отыскал за сундуком. Сдул с нее пыль. Вставил резиновый хоботок в непроливашку. Надавил и отпустил баллончик. Чернила втянулись в него с шумным всхлипом. Я выплюнул их из клизмы в помойное ведро за дверью. Потом отсосал из непроливашки то, что еще осталось. А после несколько раз наливал туда воду и тоже отсасывал. Вода сперва была зеленой, но с каждым разом становилась все светлее и наконец сделалась бесцветной. Затем я долго пускал клизмой в чернилку струи воздуха – для просушки.

Новые чернила я изготовил сам – их огрызка химического карандаша, который держал про запас в укромном закутке. Налил их в непроливашку. Попробовал. Чернила были как чернила, не очень густые, но вполне пригодные. Прасковья Ивановна вздохнет наконец с облегчением. Мне, однако, стало грустно.

Жаль было изумрудных чернил. Мне чудилась в них какая-то сказочность. Иногда я рисовал ими на старых газетах буйные африканские джунгли (как в книжках про Айболита и пятнадцатилетнего капитана). В этих джунглях, казалось мне, водились добродушные красные львы. Можно было бы сочинить

целую сказку и записать ее зелеными чернилами. Теперь никакой сказки не будет…

Но однажды я все-таки сочинил «зеленую сказку». Правда написал ее уже обычными чернилами, но как бы в память о тех изумрудных, волшебных.

Случилось это весной, в ярком теплом апреле. Сверкающее солнце за окнами напоминало о близком Первомае, а там и о недалеком уже лете. Было слышно, как в тополях за окнами галдят беззаботные воробьи, у которых вся жизнь – каникулы.

В один из таких дней к нам в класс пришла практикантка из учительского института. Нина Алексеевна. Молодая и жизнерадостная. Прасковья Ивановна часто сидела на ее уроках и порой почему-то хмурилась, но замечаний Нине Алексеевне не делала. По крайней мере, при нас…

Однажды Нина Алексеевна задала нам на дом необычное упражнение.

– Напишите, ребята, к понедельнику какое-нибудь маленькое сочинение из слов, которые начинаются на одну букву. Посмотрим, какой у вас словарный запас.

– Как это? – сказал недовольный жизнью второгодник Серега Тощеев.

– Очень просто! Ну, вроде известных стишат: «четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж»…

Я хотел уже высунуться и сказать, что черные чернила в школе, наверно, запрещены так же, как зеленые. Но Нина Алексеевна жизнерадостно продолжала;

– Это вроде игры. Не бойтесь, у кого не получится, двоек я ставить не буду. А кто сочинит удачно, получит четверку или пятерку.

Это всем понравилось. Вот бы всегда так с домашними заданиями!

Я решил постараться. Глядишь и заработаю пятерку. Их, пятерок-то, у меня в запасе было ох как немного.

Почему-то вспоминались зеленое чернила. Казалось, что, что, если бы писал ими, у меня получился бы целый рассказ, а Нина Алексеевна меня ничуть бы не ругала за изумрудные строчки.

Увы, тех чернил не осталось ни капли. Но я решил, что стану писать «как будто бы ими». И само собой получилось, что выбрал я букву «з», а первое слово было «зеленый».

Весь субботний вечер и первую половину воскресенья ходил я, задумчиво бормоча под нос. Недовольно косился на

новорожденного братца, который громкими волями сбивал мое вдохновение. Наконец ушел к сестре. Бродил с бормотаньем и там. Сестра наконец спросила, не спятил ли я чего доброго.

Я гордо сообщил, что обдумываю сочинение.

– Ну-ну, обдумывай…

Ближе к вечеру я сел за тетрадь.

И вот, что у меня получилось.

«Зеленый заяц Зюзя.

Зеленый заяц Зюзя запрыгнул за занозистый забор. Злой зоотехник Заикин зацапал Зюзю за загривок. «Здесь звероферма», – заявил Заикин. Заплакал зеленый заяц: «Зачем, зачем занесло Зюзю за злополучную загородку? Згину здесь». Зоотехник Заикин злорадно захохотал.

Загорелась заря. Звонкий зяблик Зинь-зинь залетел за забор зверофермы. Заметил Зюзю. «Зюзя, знаешь заклинание?

Золотое зернышко,
звездочкой зажгись!
Злой замок заржавленный,
звякни, затрясись!»

Замок задрожал, засов запропал. «Зюзя, за мной», – задорно зазвенел Зинь-зинь. За забором золотился закат. Закачались зеленые заросли: «Здравствуй, Зюзя!»

Я пыхтел над тетрадкой допоздна. Сестра, постанывая от любопытства, ходил у меня за спиной, но я не показывал ей сочинение, пока не дописал. А потом постеснялся немного и показал.

Сестра хмыкнула. Кажется, одобрительно. Однако велела расставить, где надо запятые и двоеточия. А еще сказала, что надо писать не «згину», а «сгину».

– Что же делать? – расстроился я.

– Ну… напиши вместо «сгину здесь» «замучают здесь». Хотя ты и без того безбожно эксплуатируешь слова с приставкой «за».

Последнюю фразу я не очень понял, а совету сестрицы внял. Правда, переписывать весь рассказ про Зюзю не стал, а сделал поправку над строкой. Прасковья Ивановна за такое исправление наверняка снизила бы оценку, но Нина Алексеевна (я надеялся!) будет снисходительней.

Может быть, кто-то не поверит, что это я сам написал в восьмилетнем возрасте? Ну и зря. Что такого! У меня в ту пору были сочинения и похлеще. Например десятистраничный роман про пиратов и привидение на необитаемом острове. А здесь всего полторы тетрадных странички. Одно достоинство, что любое

слово на букву «з». И все же я гордился своим «Зайцем Зюзей». Особенно мне нравилось заклинание про золотое зернышко. Я его придумал в порыве настоящего поэтического вдохновения!

По правде говоря, я ждал пятерки, похвал и даже триумфа. И ожидания мои сбылись!

Домашнее задание выполнили многие. Но большинство написало по одному предложению. Например, как длинная глазастая Светка Луткова: «Петя Петушков, прыгая по половицам, пел прекрасную песенку».

По сравнению с другими отличился Стасик Сударкин. Он сочинил стихи:

Кудлатый Кирила
Купил крокодила.
Кормил капустой квашеной.
Крокодил – как крашеный.

Все веселились. Нина Алексеевна тоже смеялась и поставила Сударкину пятерку, только спросила при этом:

– А почему крокодил как крашеный?

– Ну, он же зеленый!

У меня что-то ёкнуло в желудке. А Нина Алексеевна покивала:

– Ну что же, все правильно. А теперь почитаем еще про одного зеленого зверя…

И стала читать моего «Зюзю».

Успех был полный. Веселье и смех.

– Все замечательно, – сказала Нина Алексеевна. – Только опять какая-то странность. Почему заяц зеленый? Ну, крокодил это понятно. А зеленые зайцы разве бывают?

– Это же сказочный заяц! – храбро объяснил я, чувствуя поддержку масс. – У меня в непроливашке недавно были зеленые чернила, и я хотел написать ими сказку, но они кончились. А сказка все равно хотелась…

Нина Алексеевна сочла объяснение вполне достаточным. Только спросила еще, откуда мне известно слово «зоотехник». Я объяснил, что зоотехником работает муж моей взрослой сестры. Он ездит в командировки по северным зверофермам. Только он вовсе не злой, не такой, как Заикин.

Нина Алексеевна поставила мне в тетради большущую пятерку. Правда, не зелеными, а красными чернилами…

7.

Здесь, пожалуй, можно заканчивать повесть, потому что сюжеты, связанные с непроливашкой, я исчерпал.

Красный лев с непроливашки стерся, конечно, очень быстро, но я утешил себя тем, то он живет в зеленых джунглях – тех, что я рисовал когда-то зелеными чернилами. Там лев мирно гуляет по чаще вместе с зайцем Зюзей, а над ними весело летает звонкий зяблик Зинь-зинь.

Непроливашка жила у меня долго. Правда носить ее на уроки я скоро перестал. В третьем классе я перешел в другую школу, там чернилки были казенные, дежурные расставляли их на партах в начале занятий. А моя непроливашка служила мне для домашних заданий и для писания стихов, которые я во множестве сочинял в старших классах. Потом, когда я уехал учиться в университете, ею пользовался мой братишка…

Куда девалась непроливашка, не знаю. Затерялась где-то, когда мама с братом переезжали в Свердловск. И я очень обрадовался, что в точности такую же чернилку подарила мне жена.

А может быть, она – та самая?

Сейчас непроливашка пуста. Я давно уже не пишу чернилами. Даже теми, что в авторучках. Почерк стал портиться невероятно, пришлось осваивать компьютер. Но нет-нет, да и гляну я на старинный письменный прибор, где обрела свое место белая с синими полосками чернилка – подружка нашего давнего школьного детства. И мне кажется, что на дне ее немало еще интересных историй (кажется об этом что-то есть в одной из сказок Андерсена). И может быть, эти истории я когда-нибудь напишу. По крайней мере, надеюсь.

Кроме того, в непроливашке по-прежнему живут красный лев, зеленый заяц Зюзя, зяблик Зинь-зинь и немало других сказочных персонажей, которых я успел напридумывать за свою жизнь…

Да, вот еще что! Возвращаясь к началу повести, хочу сообщит читателям, что мичман Костинька (то есть Константин Андреевич!) Трубчинский благополучно вернулся на шлюпе «Афродита» из кругосветного путешествия. Потом он еще не раз участвовал в дальних плаваниях, в том числе и командиром корабля. А в дальнейшем дослужился до контр-адмирала.

Дотошный читатель может воскликнуть: «Но ничего же этого не было! Вы сами признались, что графа Андрея Гаврилыча и его сына придумали!»

Да кто же знает! Скорее всего, не было, а может быть, все-

таки и было… А кроме того, если я придумал своих героев, значит, имею право сам определять их судьбы. И возможно, что командир корабля Константин Андреевич Трубчинский еще объявится в какой-нибудь из моих повестей. Из тех, что пока прячутся в непроливашке…

7 января – 9 февраля 2002 г.